КАРЛ
УВЕ
КНАУСГОР
ЛЮБОВЬ
МОЯ БОРЬБА [2]
Ошеломляющая оригинальность
Guardian

Моя борьба

Карл Уве Кнаусгор

Моя борьба. Книга вторая. Любовь

Издательство «Синдбад»

2009

Кнаусгор К.

Моя борьба. Книга вторая. Любовь / К. Кнаусгор — Издательство «Синдбад», 2009 — (Моя борьба)

ISBN 978-5-00131-247-5

«Любовь» – вторая книга шеститомного автобиографического цикла «Моя борьба» классика современной норвежской литературы. Карл Уве оставляет жену и перебирается из Норвегии в Швецию, где знакомится с Линдой. С бесконечной нежностью и порой шокирующей откровенностью он рассказывает об их страстном романе с бесчисленными ссорами и примирениями. Вскоре на свет появляется их старшая дочь, следом – еще дочь и сын. Начинаются изматывающие будни отца троих детей. Многое раздражает героя: и гонор собратьев по перу, и конформизм как норма жизни в чужой для него стране. Тем не менее именно здесь к нему возвращается вдохновение. Не без труда вырываясь хоть на пару часов в день из семейной рутины, он отдается творчеству – своей главной борьбе.

ISBN 978-5-00131-247-5

© Кнаусгор К., 2009
© Издательство «Синдбад», 2009

Содержание

Часть III 6
Конец ознакомительного фрагмента. 80

Карл Уве Кнаусгор
Моя борьба. Книга вторая. Любовь

Karl Ove Knausgård
MIN KAMP. ANDRE BOK

Copyright © 2009, Forlaget Oktober as, Oslo
Published in the Russian language by arrangement with *The Wylie Agency*
Russian Edition Copyright © Sindbad Publishers Ltd., 2020

Фото на обложке © Sam Barker

© Издание на русском языке, перевод на русский язык. Издательство «Синдбад», 2020.

Часть III

29 июля 2008 года

Лето было долгое и никак не кончалось. Двадцать шестого июня я сдал первую часть романа, но дальше Ванья и Хейди больше месяца не ходили в детский сад, что, естественно, сказалось на насыщенности повседневной жизни. Я никогда не понимал смысла отпуска, никогда не стремился его получить, вечно мечтал только больше работать. Но раз надо, значит, надо. План был, что первую неделю мы проведем на даче в садовом кооперативе, купленной нами прошлой осенью под нажимом Линды, чтобы ездить туда писáть и на выходные, но выдержали мы там три дня и вернулись в город. Собрать троих детей и двоих взрослых на небольшом пятачке, плотно окруженном соседями, без иных доступных занятий, кроме прополки и стрижки газона, – не то чтобы хорошая идея, когда в отношениях уже наметилась дисгармония. Несколько раз мы ругались на повышенных тонах – думаю, к вящему удовольствию соседей, но сотни и сотни тщательно ухоженных садиков с пожилыми полуголыми людьми бесили меня и вызывали приступы клаустрофобии. Эти настроения дети ловят влет и паразитируют на них, особенно Ванья; она мгновенно регистрирует изменения тона или градуса напряжения и, если они существенные, целенаправленно начинает вести себя как можно хуже, зная, что мы наверняка вспылим, если она не прекратит нарываться. Постоянная фрустрация не оставляет сил на оборону, и все шло по накатанной: крики, вопли, тоска. Через неделю мы взяли напрокат машину и поехали в Чёрн под Гётеборгом, потому что Микаэла, подружка Линды и крестная Ваньи, пригласила нас погостить на даче ее гражданского мужа. Мы заранее спросили, понимает ли она, что такое трое детей, и точно ли хочет, чтобы мы приехали, и она сказала, что да, хочет, будет печь с ними булочки, водить их гулять, купаться и ловить крабов, а у нас появится немножко времени для себя. Мы и клюнули. Доехали до Чёрна, запарковались рядом с дачей, посреди почти южнонорвежского пейзажа, и ввалились в дом с детьми и баулами. Мы собирались прожить там неделю, но через три дня снова загрузили вещи в машину и взяли курс на юг, к явному облегчению Микаэлы и Эрика.

Бездетные люди, какими бы умными и зрелыми они ни были, редко понимают, что такое дети; во всяком случае, я не понимал, пока сам ими не обзавелся. И Микаэла, и Эрик успешно строили карьеру; сколько я Микаэлу знал, столько она руководила разным в сфере культуры, а Эрик работал директором крупного международного фонда со штаб-квартирой в Швеции. После Чёрна он улетал в Панаму перед их совместным отпуском в Провансе, потому что так была устроена их жизнь, и места, о которых я лишь читал, для них были обыденностью. И вот являемся мы, с памперсами и влажными салфетками, с ползающим по всему дому Юнном, с Хейди и Ваньей, которые дерутся, скандалят, орут, рыдают, хохочут, едят не за столом, не слушаются, тем более на людях, когда мы действительно хотим, чтобы дети вели себя прилично, но они видят нас насквозь, и чем выше для нас ставки, тем менее они управляемы; дача была огромная и вместительная, но все же не настолько огромная и вместительная, чтобы их вообще не замечать. Эрик как будто бы не переживал из-за вещей и старался проявлять великодушие и любовь к детям, но язык тела свидетельствовал об обратном: отстраненность во взгляде, руки прижаты к телу плюс манера беспрерывно раскладывать вещи по местам. С вещами и домом, знакомыми ему всю жизнь, он чувствовал близость, но не с теми, кто обосновался здесь на несколько дней, на них он смотрел примерно как на кротов или ежей. Эрик был мне понятен и приятен. Но я приехал не один и пообщаться с ним, встретиться по-настоящему не имел возможности. Он учился в Кембридже и Оксфорде, он несколько лет работал в Лондоне брокером, но на прогулке забрался с Ваньей на выступ над морем, и на его глазах она стала карабкаться на скалу, а он стоял на месте и любовался видом, не принимая в расчет, что ей всего четыре года и она не в состоянии сама просчитать риски, так что пришлось мне

с Хейди на руках бежать вприпрыжку и вмешиваться. Спустя полчаса, в кафе, где я разрывался между Ваньей и Хейди, и вдобавок надо было купить им еду и я еще не отошел от давешнего резкого спурта в гору, я попросил Эрика покормить Юнна булочкой, положил ее ему под руку и сказал, что надо отщипывать по кусочку; он кивнул, конечно-конечно, но не отложил газету, не поднял глаз и не обратил внимания, что Юнн в полуметре от него все больше и больше впадает в отчаянье, поскольку ему не дают булочку, которую он прекрасно видит, но не может достать, отчего он наконец ударился в рев и стал пунцового цвета. Линда, сидевшая на другом конце стола, страшно разозлилась, я видел это по ней, но промолчала, дождалась, пока мы вышли наружу и остались вдвоем, и сказала, что мы едем домой. Немедленно. Привычный к перепадам ее настроения, я ответил: прекрати, не решай ничего на злости. Естественно, она только сильнее разобиделась, и, дожив в таком режиме до утра, мы загрузились в машину и двинулись в обратный путь.

Высокое синее небо и продуваемые, мелконарезанные, но красивые дали плюс восторг детей, что мы едем на машине, а не поездом или самолетом, как все последние годы, разрядили атмосферу, но ненадолго, скоро все вернулось на круги своя, потому что пора было обедать, а ресторан, куда мы зарулили, оказался только для членов яхт-клуба, но официант посоветовал мне перейти по мосту в город, там метров через пятьсот есть еще один ресторан, так что спустя двадцать минут мы обнаружили себя, голодных, с двумя детскими колясками, на высоком и узком мосту с интенсивным движением и унылым заводским пейзажем впереди. Линда была вне себя от ярости, глаза ее потемнели. Нам непременно надо вляпаться во что-нибудь, шипела она, с другими такого не бывает, но мы не можем иначе; казалось бы, чего проще – пообедать семьей, милое дело, вместо этого мы тащимся по проклятому мосту среди машин и дышим выхлопами. Я когда-нибудь видел, чтобы семья с тремя детьми гуляла таким образом? Дорога, в которую перетек мост, уперлась в железные ворота с эмблемой страховой компании. Чтобы попасть в город, который выглядел запущенным и депрессивным донельзя, надо было не менее четверти часа идти вдоль заводского забора. Мне хотелось плюнуть и бросить Линду, что ж такое, вечно она нудила, вечно жаловалась, всегда хотела чего-то другого, но сама ничего для достижения желаемого не делала, только жаловалась, жаловалась, жаловалась и терялась в любой непонятной ситуации, а когда действительность расходилась с ее ожиданиями, обвиняла во всех смертных грехах меня. Мы могли бы разойтись, но логистика, как обычно, не позволила, у нас была одна машина и две коляски на двоих, поэтому оставалось делать вид, что ничего из сказанного сказано не было, и толкать дребезжащие, заляпанные коляски назад через мост и в горку к красавцу яхт-клубу, запихивать их в багажник, пристегивать детей и ехать к ближайшему «Макдоналдсу», который оказался на заправке на въезде в центр Гётеборга, там я съел свою сосиску на лавочке, а Ванья и Линда в машине. Юнн и Хейди спали, запланированный визит в парк развлечений Лисеберг мы с Линдой отменили, поскольку при таком напряжении между нами ничем хорошим дело бы не кончилось, но через несколько часов внезапно остановились у дешевого и убогого так называемого шапито, где все было примитивнее некуда, и сначала повели детей в «цирк»: собачка попрыгала через обручи, поднятые на уровень колена, затем крепкая мужиковатая дама в бикини, видимо родом из Восточной Европы, подкидывала те же обручи и вертела их на бедрах – в моей начальной школе этим искусством владели все девочки нашего класса, – и, наконец, белобрысый мужчина моего возраста в туфлях с загнутыми носами, в тюрбане, с валиками жира, называемыми «шина автомобильная», поверх шаровар, набрал в рот бензина и четыре раза дыхнул огнем на низкую крышу. Юнн и Хейди таращились на все так, что глаза выкатывались из орбит. А Ванью целиком занимал автомат, где можно вытянуть игрушку, мы видели его по дороге, и теперь Ванья дергала меня и спрашивала, скоро ли все кончится. Время от времени я поглядывал на Линду. Она держала на коленях Хейди, в глазах стояли слезы. Когда мы вышли и, каждый толкая свою коляску,

побрели к пятачку с аттракционами мимо большого бассейна с длинной горкой, на верху которой возвышался огромный, метров тридцати, тролль, я спросил Линду, в чем дело.

– Сама не знаю, – ответила она. – В цирке у меня всегда глаза на мокром месте.

– Почему?

– Все так печально, жалко, убого. И в то же время красиво.

– Даже здесь?

– Да. Ты же видел, Юнн и Хейди смотрели как зачарованные.

– Но не Ванья, – сказал я с улыбкой. И Линда улыбнулась в ответ.

– А что я? – тут же спросила Ванья, повернувшись к нам. – Папа, ты что сказал?

– Я сказал, что ты все представление думала только об игрушке, которую увидела в автомате у входа.

Ванья улыбнулась, как она всегда улыбается, когда мы обсуждаем ее поступки. Удовлетворенно, но ретиво, готовая на большее.

– А что я делала? – спросила она.

– Щипала меня за руку, – ответил я, – и говорила, что хочешь поскорее пойти туда и вытащить билетик.

– А зачем?

– Откуда же я знаю? Но ты очень хотела игрушку.

– И мы сейчас туда пойдем?

– Да, автомат внизу, – сказал я и показал на асфальтовую дорожку, она вела к аттракционам, почти скрытым деревьями.

– Хейди тоже пойдет? – спросила она.

– Если захочет, – ответила Линда.

– Она хочет, – сказала Ванья и наклонилась к Хейди, ехавшей в коляске. – Ты хочешь, Хейди?

– Да, – сказала Хейди.

Мы накупили билетов на девяносто крон, пока наконец обе они не получили по плюшевой мыши. Солнце жгло небо над нами, воздух в лесу стоял неподвижно, весь мыслимый скрип и скрежет аттракционов мешался с диско восьмидесятых, разносившимся из всех павильонов. Ванья хотела сахарную вату, поэтому десять минут спустя мы сидели за столом рядом с киоском, окруженные озлобленными, назойливыми осами, на палящем солнце, из-за которого сахар намертво приваривался ко всему, чего касался, то есть к столешнице, спинке коляски, рукам и ладоням, к громогласному недовольству детей: не это они представляли себе при виде крутящейся бобины с нитями сахара в окошке киоска. Кофе оказался горькой бурдой, пить его было невозможно. Маленький чумазый мальчик подъехал к нам на трехколесном велосипеде, уперся колесом в коляску Хейди и выжидательно уставился на нас. Черные волосы, черные глаза, мог оказаться цыганенком, или албанцем, или греком. Ткнувшись колесом в коляску несколько раз, он встал так, чтобы его нельзя было обойти, и стоял, опустив глаза.

– Уезжаем? – спросил я.

– Хейди хотела покататься на лошади, – ответила Линда. – Мы можем покатать ее, прежде чем уезжать?

Пришел кряжистый мужчина с глазами навыкате, тоже черноволосый, подхватил мальчика и велосипед и отнес их на площадку перед киоском, погладил мальчика по голове и вернулся на свое рабочее место, к механическому осьминогу. Тот держал в щупальцах корзины, куда надо садиться, и они поднимались и опускались, одновременно вращаясь. Мальчик теперь разъезжал по площадке у входа, где туда-сюда сновали по-летнему одетые люди.

– Конечно, – сказал я, встал, вышвырнул в помойку две палки с остатками ваты, Хейдину и Ваньину, и покатил коляску Юнна – он откидывал голову то вправо, то влево, чтобы углядеть все интересное, – через площадку ко входу в «Город на Диком Западе». Но в городе, ока-

завшемся огромной песочницей с тремя свежесколоченными будками под названиями соответственно «прииск», «шериф» и «тюрьма», из которых две последние были сплошь оклеены плакатами «Розыск! Найти живым или мертвым!», подпертой с одной стороны лесом, с другой – треком, где молодежь делала трюки на досках с колесиками, на лошадях не катали. За заборчиком прямо напротив «прииска» сидела на камне цирковая восточноевропейская женщина и курила.

– Скакать! – сказала Хейди.

– Покатаемся на ослике у входа, – ответила Линда.

Юнн кинул бутылку с соской на землю. Ванья подлезла под забор и помчалась к прииску. Заметив такое дело, Хейди вылезла из коляски и побежала следом. Выцепив взглядом красный холодильник с кока-колой позади конторы шерифа, я полез в карман за мелочью и вытащил две резинки для волос, гребешок с русалкой, зажигалку, три камешка и две маленькие белые ракушки – улов Ваньи из Чёрна, – две бумажки по двадцать крон, две монеты по пять эре и девять по десять.

– Я покурю пока. Сяду вон там. – Я кивнул на бревно на краю площадки.

Юнн стал тянуть руки вверх.

– Хорошо, – сказала Линда, вытаскивая его из коляски. – Ты, наверно, есть хочешь да, Юнн? Фуф, какая жарища! Где бы нам с Юнном тень найти?

– Там? – сказал я и показал на ресторан на горке в форме поезда: в локомотиве был прилавок с кассой, в вагонах столики. Я со своего места видел, что там ни души. Стулья были прислонены спинками к столам.

– Пожалуй, так и сделаю, – ответила Линда. – И покормлю его. Ты за девочками присмотришь краем глаза?

Я кивнул, сходил к автомату за колой, сел на бревно и закурил, поглядывая в сторону наспех сколоченного домика, где носились туда-обратно Ванья с Хейди.

– Там внутри темнота! Иди посмотри! – крикнула мне Ванья.

Я помахал ей в ответ, для ощущения безопасности ей этого хватило. Мышь она все время прижимала рукой к груди.

А где Хейдина мышь, кстати?

Проследил взглядом их путь, и точно: вон она, мышь, зарылась головой в песок. В ресторане наверху Линда поставила стул к стенке и кормила Юнна, он сперва дрыгал ногами, но теперь сосал, лежа тихо. Дама из цирка шла по дорожке наверх. Слепень укусил меня за ногу. Я хлопнул его с такой силой, что размазал по коже. У распаренной на жаре сигареты вкус был отвратный, но я упрямо затягивался и смотрел на верхушки елей, ярко-зеленые на солнце. Сердито согнал с ноги очередного слепня, отшвырнул сигарету и пошел к девочкам с недопитой жестянкой все еще холодной колы в руке.

– Папа, обойди с той стороны и посмотри, тебе видно нас, когда мы внутри? – сказала Ванья, прищурясь против солнца.

– Хорошо, посмотрю, – сказал я и пошел обходить домик, из которого слышалась их возня. Приник к какой-то щели и заглянул внутрь. Но из-за контраста между ярким солнцем снаружи и темнотой внутри я ничего не высмотрел.

– Папа, ты здесь? – закричала Ванья.

– Да.

– Ты нас видишь?

– Нет. Вы невидимки?

– Да!!!

И когда они вылезли, я притворился, что не вижу их. Смотрел прямо на Ванью и звал ее.

– Я же вот она, – сказала Ванья и помахала двумя руками.

– Ванья! – продолжал я. – Ты где? Выходи, наконец, уже не смешно.

– Я вот она! Вот!

– Ванья?..

– Ты меня по правде не видишь? Я по правде невидимка?

Она была страшно довольна, но я уловил в ее голосе нотки тревоги. Но тут разорался Юнн. Я посмотрел наверх. Линда встала и крепко прижимала его к себе. Не похоже на Юнна – так вопить.

– А, вот ты где? – сказал я. – Ты все время стояла тут?

– Да-а.

– Слышишь, Юнн плачет?

Она кивнула и взглянула наверх.

– Нам надо пойти к ним с мамой. Идем, – сказал я и взял Хейди за руку.

– Не хочу, – тут же ответила она. – Не хочу за руку.

– Хорошо. Тогда садись в коляску.

– Не хочу в коляску.

– А на ручки? Давай понесу тебя.

– Не хочу понесу.

Пока я ходил за коляской, она залезла на заборчик. Ванья села на землю. На горке Линда вышла из ресторана и махала нам рукой, чтобы мы поднимались. Юнн кричал не переставая.

– Я не хочу ходить, – сказала Ванья, – у меня ножки устали.

– Ты сегодня еще никуда не ходила. С чего они вдруг устали? – спросил я.

– У меня нет ножек. Неси меня на ручках.

– Нет, Ванья, что за глупости. Я не могу тебя таскать.

– Можешь.

– Хейди, садись в коляску, и пойдем.

– Не буду коляску.

– Но-о-о-жек не-е-ет! – Ванья перешла на крик.

Мне в голову ударила ярость. Первый импульс был схватить их под мышки и понести. Я много раз бывал в этом положении – шел с непроницаемым лицом и двумя орущими брыкающимися детьми под мышками мимо прохожих, неизменно пялящихся на нас во время подобных сцен с таким интересом, как если бы на мне был костюм шимпанзе.

Но сейчас я совладал с собой.

– Ванья, а в коляску ты можешь сесть?

– Если ты меня поднимешь и посадишь.

– С какой стати? Давай сама.

– Нет. У меня ножек нет.

Не сдайся я, мы бы стояли там до утра, потому что хотя у Ваньи терпенья ни на грош и она пасует перед малейшей трудностью, зато она несгибаемо упряма, когда хочет настоять на своем.

– Хорошо, – сказал я и посадил ее в коляску. – Ты опять победила?

– А что я победила?

– Ничего, – ответил я. – Хейди, иди на ручки.

Я снял ее с забора и после нескольких ее фарисейских «нет» и «не хочу» двинулся наконец вверх по дорожке с Хейди на руках и Ваньей в коляске. По пути вытащил из песка Хейдину мышь, отряхнул и сунул в сетку под коляской.

– Не знаю, что с ним такое, – сказала Линда, когда мы дошли до нее. – Вдруг стал кричать. Может быть, оса укусила. Вот, посмотри…

Она задрала на Юнне свитер и показала мне красное пятнышко у него на пузе. Юнн вырывался как мог, лицо побагровело, и волосы уже взмокли от крика.

– А меня слепень укусил, – сказал я. – Возможно, его тоже. Сейчас мы все равно ему ничем не поможем. Посади его лучше в коляску.

Но и в коляске, пристегнутый ремнями, он вопил, выгибался и возил подбородком по груди.

– Пойдем-ка мы в машину, – сказал я.

– Да, только переодену его. Я видела переодевалку внизу.

Я кивнул, и мы пошли вниз. Мы пробыли здесь несколько часов, солнце спустилось ниже, и что-то в свете, которым оно наполняло лес, напомнило мне о летних днях дома, когда мы в детстве под вечер ехали с мамой и папой купаться на океанскую сторону острова или сами, одни, спускались на мыс за домами. На секунду меня захлестнули воспоминания, не конкретные истории, а запахи, настроение, ощущения. Как солнце, днем белое, нейтральное, к вечеру набухало соком, отчего все краски отливали в черноту. Как же бежалось тогда в семидесятые по лесной тропинке среди тенистых деревьев! А потом нырнуть в пересоленую воду и доплыть до Йерстадхолмена. Солнце подсвечивает камни, и они золотятся. Между ними торчит сухая, жесткая трава. И ощущение бездонности моря под гладкой коркой воды, темной от тени утеса. И скользящие в воде рыбы. И деревья над нами. Тощие ветки трепещут на легком закатном ветру. Тонкая кора, гладкое, похожее на ногу, дерево внизу. Зелень листвы…

– Вот она, – сказала Линда, кивнув на маленькое восьмиугольное деревянное строение. – Ты здесь подождешь?

– Мы потихоньку пойдем к машине.

В лесу, но с нашей стороны ограды, стояли два вытесанных из дерева тролля. Они призваны были оправдать название «Сказочная страна».

– Смотри, топтен! – закричала Хейди. «Топтен» – это томтен, шведский Дед Мороз, он же норвежский ниссе.

Хейди давно им заинтригована. В разгар весны она все еще говорила, показывая пальцем на веранду, откуда он появился на Рождество, что «топтен ходил», а беря в руки подаренную им игрушку, всегда сначала сообщала, что «топтен дал». Кем она его считала, было не очень понятно; например, когда она по нашему недогляду увидела на Святках у меня в шкафу костюм, в котором ниссе приходил к нам на Рождество, то не удивилась, не рассердилась, все обошлось без разоблачений – она просто показала пальцем и закричала «Топтен!», мол, вот он где переодевался; когда на рыночной площади у дома нам встречался старик-бездомный с седой бородой, она привставала в коляске и вопила во все горло «Топтен!».

Я наклонился и поцеловал ее в пухлую щечку.

– Без целуев! – сказала она.

Я засмеялся.

– Можно я тогда тебя поцелую, Ванья?

– Нет! – сказала Ванья.

Мимо нас немногочисленным, но непрерывным потоком двигались люди, в основном во всем светлом: в шортах, футболках, сандалиях; на удивление много полных, и почти ни одного прилично одетого.

– А мой папа в тюрьме! – с удовольствием завопила вдруг Хейди.

Ванья повернулась в коляске.

– Нет, не в тюрьме! – сказала она.

Я снова рассмеялся и остановился.

– Надо маму подождать, – объяснил я.

«У тебя папа – в тюрьме», – так говорят дети у Хейди в саду. Ей кажется, что это похвальба выше не придумаешь, и она говорит так, когда хочет похвалиться мной. Когда мы последний раз уезжали с нашей дачи, Хейди, как рассказала Линда, похвасталась так даме, сидевшей за ними в автобусе. «А мой папа в тюрьме!» Поскольку меня там не было – мы

с Юнном остались стоять на автобусной остановке, – то неопровергнутое утверждение так и повисло в воздухе.

Я наклонил голову и рукавом футболки стер пот со лба.

– Папа, еще билет дашь? Еще игрушка? – спросила Хейди.

– Нет, конечно, ты уже выиграла мышку.

– Ну еще!

Я отвернулся и увидел, что к нам идет Линда. Всем довольный Юнн спокойно сидел в коляске в своей панамке.

– Все в порядке? – спросил я.

– Вроде бы. Я промыла укус холодной водой. Но Юнн устал.

– Поспит в машине.

– А сколько сейчас времени, не знаешь?

– Примерно полчетвертого, наверно.

– Дома будем в восемь?

– Где-то так.

Мы еще раз пересекли насквозь всю небольшую «Сказочную страну», снова миновали пиратский корабль – спереди помпезный деревянный фасад, сзади лазилка с подвесными лесенками и переходами, на площадках стояли где-то однорукие, а где-то одноногие воины с мечом и в чалме, – затем мы прошли вольер с ламами и другой, со страусами, заасфальтированный пятачок для катания на детских машинках и наконец спустились ко входу, где обнаружилась полоса препятствий, то есть конструкция из бревен, заборчиков и сеток, плюс тарзанка, плюс катание на ослике, где мы залипли. Линда подхватила Хейди, отнесла ее в конец очереди и натянула ей на голову шлем, а мы с Ваньей и Юнном издали наблюдали за ними.

Осликов всего имелось четыре, вели их родители сами, и, хотя дорожка была каких-нибудь тридцать метров, все проходили ее подолгу, потому что ослы не пони, они вдруг встают и стоят. Обескураженный родитель изо всех сил тянет уздечку, но осел и ухом не ведет. Родитель пихает осла в бок, тот ноль внимания. Какой-то малыш уже плакал. Все время громко кричала билетерша, давая советы родителям. «Сильнее тяните! Сильнее! Ну! Не так, а сильно! Во-от!»

– Ванья, видишь? Ослики тоже упрямятся, не хотят идти.

Ванья засмеялась. Я был рад, что она рада. Но чуть тревожился, не психанет ли Линда, терпения у нее не сильно больше, чем у Ваньи. Но когда подошла их очередь, Линда справилась великолепно. Стоило ослу остановиться, она вставала сбоку от него, поворачивалась спиной и чмокала, выпятив губы. Она выросла с лошадьми, с детства ездит верхом и умеет с ними обращаться, этого у нее не отнять.

Хейди сияла от счастья, сидя в седле. Но осел раскусил Линдины фокусы и встал, тогда она так властно и сильно потянула за повод, что он понял: артачиться смысла нет.

– Отлично ездишь! – крикнул я Хейди и опустил глаза на Ванью: «А ты хочешь?»

Ванья мрачно, но непреклонно помотала головой. Поправила очки. Она села на пони в полтора года, а в два с половиной, когда мы переехали в Мальмё, пошла в школу верховой езды. Каталась в глубине Фолькетс-парка, в унылом, грязном манеже с плиткой на полу, но ей он казался сказочной страной, она впитывала как губка все, происходившее на занятиях, а потом с энтузиазмом вываливала нам. Она восседала с прямой спиной на нечесаном пони, которого водила по кругу Линда или, если мы с Ваньей приезжали вдвоем, одна из девиц лет одиннадцати-двенадцати, которые паслись на конюшне с утра до вечера, а тренер ходил в центре и говорил, что делать. И пусть Ванья не всегда понимала его требования, для нее куда важнее были сами лошади и весь этот мир вокруг них. Конюшня, кошка с котенком, которого она прикапывает в сене, выбор шлема, списки, кто на какой лошади сегодня занимается, и миг, когда ее выводят на манеж, собственно выездка и яблочный сок с коричной булочкой в буфете

по окончании занятия. Это становилось главным событием недели. Но следующей осенью все изменилось. Пришел новый тренер и стал предъявлять к Ванье – а на вид она была старше своих скромных неполных четырех лет – требования не по ее силам. Линда попробовала поговорить с ним, но без толку, и Ванья стала упрямиться, отказывалась ездить на тренировки, нет и все, и в конце концов мы бросили школу. И Ванья теперь и здесь не хочет прокатиться верхом, в парке, где ничего не требуют и даже Хейди проехала свой кружок.

Мы пробовали еще одни занятия – музыкальную студию, где дети часть времени поют вместе, а часть времени рисуют и мастерят поделки. На втором занятии им надо было нарисовать дом, и Ванья сделала траву перед ним голубой. Руководительница подошла к Ванье и сказала, что трава не голубого цвета, а зеленого, и не могла бы Ванья нарисовать другую картинку? Ванья в ответ порвала рисунок и устроила такую сцену, что остальные родители выразительно подняли брови, мол, какая радость, что наши дети воспитаны гораздо лучше. В Ванье есть много разного, но прежде всего она очень чувствительная, и то, что уже сейчас ситуация усугубляется, а она усугубляется, меня беспокоит. Ванья растет у меня на глазах, и этот процесс меняет мои представления о собственном детстве, не в смысле качества, но количества: сколько же времени человек проводит с детьми! Не измерить. Много-много часов, дней, бесконечное множество ситуаций, которые складываются и проживаются. Из собственного детства я помню лишь несколько эпизодов, которые я всегда считал значимыми, сформировавшими мою личность, но теперь я понимаю, что они были каплями в море других событий, и это меняет дело: откуда мне знать, что именно эти эпизоды оказали на меня влияние, а не те другие, которые выветрились из памяти?

Гейр, когда я завожу об этом речь, а мы ежедневно беседуем час по телефону, всегда цитирует Свена Столпе: он где-то написал, что Бергман стал бы Бергманом, где бы он ни рос, имея в виду, что человек равен себе независимо от условий. Первична манера, в которой человек общается с семьей, а не семья. Меня с детства учили, что черты характера, особенности поведения, поступки и явления объясняются социумом, в котором они проявились. Биология и генетика, то есть врожденные факторы, в расчет не брались, и если вдруг всплывали, то шли по разряду подозрительных фактов. На первый взгляд такой подход кажется гуманистическим, благо он тесно связан с представлением о полном равенстве людей; но если вдуматься, то никак не меньше оснований расценивать его как механистический: люди рождаются пустыми и отдают право формировать себя окружению и среде. Я долгое время видел здесь чисто теоретическую проблему, настолько фундаментальную, что от нее, как от бруска в прыжках в длину, можно оттолкнуться почти в любой дискуссии: насколько нас формирует среда; неужели люди изначально все одинаковые и лепи из них что хочешь; а можно ли растить хороших людей, воздействуя на условия их жизни, – вспомним, как поколение наших родителей верило в государство, в образовательную систему и в политику, а также с каким сладострастием они отвергали все старое и утверждали свою новую правду, завязанную не на то уникальное и неповторимое, что происходит в душе одного конкретного человека, но на его внешние связи, на коллективное и всеобщее; лучше всех, пожалуй, это сформулировал в 1967 году всегдашний летописец своего времени Даг Сульстад в тексте, включающем хрестоматийную фразу «мы не хотим приделывать чайнику крылья»: долой духовность, долой душевный трепет, даешь новый материализм, – а что эти лозунги и снос старых районов города ради строительства шоссе и парков связаны между собой, вот это левым радикалам в голову не приходило, сами они, конечно, были против сноса исторической застройки; наверно, оно и не могло прийти им в голову тогда, связь капитализма и уравниловки, государства всеобщего благоденствия и либерализма, марксистского материализма и общества потребления стала очевидной к нашему времени, потому что никто не насаждает равенство так успешно, как деньги, они стесывают все различия, и если твой характер и твою судьбу кто-то может сформировать, то идеальным формовщиком окажутся деньги, что и видно на примере очаровательного феномена – толпы людей, зацик-

ленных на своей индивидуальности и неповторимости, демонстрируют ее, совершая идентичные покупки, а те, кто наставил их на этот путь, нахваливая равенство, подчеркивая значимость материальной стороны дела и требуя перемен, теперь клянут эти плоды своих усилий и считают их происками врагов, – впрочем, мои умозаключения, как всякое упрощение, не совсем справедливы; жизнь не уравнение, у нее нет теоретической части, одна практика, и, как ни велико искушение сформулировать взгляд целого поколения на общественное устройство исходя из его представлений о роли наследственности и среды, это лишь литературный искус, то есть радости от самого процесса размышления, коротко говоря, от умения притянуть мысль к максимально разномастным сферам человеческой деятельности, здесь больше, чем радости изречь истину. В книгах Сульстада небо низко, земля близко, он необычайно тонко улавливает колебания в общественных настроениях, от ощущения отчужденности в шестидесятые годы к восторженному увлечению политикой в начале семидесятых и, как раз когда задули эти новые ветры, к отстраненности от нее в конце того же десятилетия. Иметь такой встроенный флюгер для писателя не плюс и не минус, а материал, вектор, тем более что в случае Сульстада все важное сконцентрировано в другом, а именно в языке, сверкающем неостаромодной элегантностью, излучающем особое свечение, неподражаемом и исполненном духа. Такому языку нельзя научиться, нельзя купить за деньги, и в этом его ценность. Нет, мы не рождаемся одинаковыми, а потом житейские обстоятельства складывают наши жизни по-разному, наоборот – рождаемся мы разными, но житейские обстоятельства делают наши жизни более похожими.

Стоит мне подумать о своих троих детях, я отчетливо вспоминаю не только черты лица каждого ребенка, но и внушаемое им чувство. Оно постоянно, неизменно, оно и есть то, «каков» он для меня. И это «каков» уже было в каждом, когда я их впервые увидел. Они еще ничего не умели, а такую доступную им малость, как сосать грудь, рефлекторно поднимать руки, смотреть вокруг, гримасничать, делали одинаково, так что «каков» не имеет отношения к особенностям, к умениям, что человек может, что нет, – это свет, идущий изнутри.

Характеры, а они исподволь проявились в первые же недели и тоже дальше не менялись, у всех них настолько разные, что поневоле засомневаешься, играют ли условия, в которые мы ставим детей, то есть наше поведение и обращение с ними, такую уж решающую роль в воспитании. У Юнна характер мягкий, дружелюбный, он обожает своих сестер, самолеты, поезда и автобусы. Хейди открыта миру и вступает в контакт со всеми подряд, ее интересуют наряды и обувь, она соглашается носить только платья и уверена, что у нее хорошая фигура, например, как-то раз, стоя в раздевалке бассейна перед зеркалом, она сказала маме, Линде: «Смотри, какая у меня красивая попа!» Хейди не терпит, если ее ругают; стоит повысить голос, она отворачивается и пускает слезу. Ванья, напротив, никогда не остается в долгу, у нее бешеный темперамент, она волевая, впечатлительная и безошибочно чувствует людей. У нее отличная память, она знает наизусть большинство книг, которые мы ей читаем, и реплик из фильмов, которые мы смотрим. И чувство юмора у нее есть, дома она часто нас смешит, но вне дома мгновенно поддается общему настроению, и если вокруг оказывается много нового или непривычного, то замыкается в себе. Стеснительность стала проявляться у нее месяцев в семь: стоило незнакомому человеку подойти близко, она просто закрывала глаза, как будто спала. Изредка она и до сих пор так делает, например, если она сидит в коляске и мы неожиданно встречаем на улице родителя из детского сада, глаза у нее закрываются сами собой. В Стокгольме в детском саду – он был у нас прямо напротив дома – Ванья после периода робкого и осторожного сближения очень подружилась с мальчиком своего же возраста, звали его Александр, и они на пару так уходили вразнос на детской площадке, что воспитателям время от времени приходилось защищать его от Ваньи, он не выдерживал ее напора. Но обыкновенно он расцветал при виде ее и мрачнел, когда она уходила; с тех пор Ванья предпочитает играть с мальчиками, ей очевидно нужна физическая разрядка, буйство, потому что это просто позволяет быстро справляться с чувствами.

В Мальмё она пошла в другой сад, на Вестер-Хамнене, искусственном острове, где селятся люди с деньгами, и поскольку Хейди была совсем маленькая, то приучал Ванью к садику я. Каждое утро мы садились на велосипед и ехали через город, мимо старых верфей в сторону моря; Ванья – обхватив меня сзади руками, в маленьком шлеме, и я – на дамском велосипедике, упираясь грудью в коленки, но веселый и беззаботный, потому что город был для меня по-прежнему новым и на игру света на небе по утрам и вечерам я смотрел незамыленным взглядом, не как на данность. То, что Ванья просыпалась со словами: «Не хочу в садик», иногда и со слезами, я списывал на привыкание, конечно же, постепенно ей все понравится. В садике она наотрез отказывалась слезать с моих рук, чем бы три тамошние юные воспитательницы ее ни заманивали. Я считал, что лучше бы мне уйти и оставить ее саму разбираться, но ни они, ни Линда слышать не хотели о подобной жестокости, поэтому я сидел в углу на стуле с Ваньей на коленях, вокруг возились играющие дети, за окном сияло яркое солнце, с течением дней отсвечивая все более по-осеннему. Завтракали они на улице, воспитательницы раздавали им кусочки яблока и груши, но Ванья соглашалась сесть за стол только в десяти метрах ото всех, и, когда мы с ней так делали, я, хоть и улыбался извиняющейся улыбкой, вовсе не удивлялся, потому что это абсолютно моя манера общения с людьми, но как она узнала о ней в свои два с половиной года? Естественно, воспитательницы постепенно сумели отклеить ее от меня, так что я уже мог под ее душераздирающий плач уехать писáть, а через месяц я оставлял и забирал ее без проблем. Но она по-прежнему иногда говорила, что не хочет идти, по-прежнему иногда плакала, и, когда нам позвонили из другого садика, по соседству, что у них есть свободное место, мы перешли к ним без колебаний. Назывался он «Рысь» и был *родительским кооперативом*. Это означает, что в течение года родители должны отработать две недели воспитателями, а в остальное время выполнять разные поручения. Насколько глубоко садик въестся в нашу жизнь, мы тогда не подозревали, а говорили исключительно о его преимуществах: работая там, мы хорошо узнаем всех детей, а благодаря поручениям и общим собраниям познакомимся с родителями. Нам сказали, что дети часто ходят друг к другу в гости, так что вскоре мы сможем, когда понадобится, подкидывать кому-нибудь Ванью. К тому же, что было, пожалуй, основным аргументом, мы в Мальмё никого не знали, ни единого человека, а это – простой способ завести круг общения. Расчет оказался верным, через пару недель нас позвали на день рождения одного из детей. Ванья страстно предвкушала праздник, не в последнюю очередь потому, что ей купили туфли золотого цвета, которые ей предстояло надеть, но в то же время опасалась туда идти, что очень понятно, поскольку она еще слишком мало знала ребят. Приглашение обнаружилось в шкафчике на полке в пятницу вечером, праздник ожидался в следующую субботу, и всю неделю Ванья каждое утро спрашивала, не сегодня ли надо идти к Стелле. Когда мы отвечали «нет», она спрашивала, не завтра ли; ее временной горизонт заканчивался примерно на этом. Наконец наступил день, когда мы кивнули и сказали «Да, сегодня мы пойдем к Стелле», и Ванья спрыгнула с кровати и побежала к шкафу надевать золотые туфли. Два раза в час она спрашивала, не пора ли уже идти, и день грозил обернуться нытьем, зудением и бурными сценами, но, к счастью, нам было чем его заполнить. Они с Линдой сходили в книжный за подарком, потом сели на кухне рисовать открытку с поздравлением, потом мы девочек искупали, причесали и надели на них белые колготки и выходные платья. Настроение Ваньи вдруг резко изменилось, внезапно ей опротивели и платье, и туфли, ни о каком празднике уже и речь не шла, а туфли она швырнула в стену, но, терпеливо переждав те несколько минут, которые длится вспышка, мы сумели надеть на нее все положенное, включая еще и вязаную шаль, купленную ей на крестины Хейди, и вот наконец девочки сидят в коляске, снова полные предвкушения. Ванья, серьезная и тихая, держала золотые туфли в одной руке, а подарок – в другой. Но когда она поворачивалась к нам что-нибудь спросить, то на губах была улыбка. Рядом сидела Хейди, радостная и оживленная, она хоть и не понимала, куда мы идем, но приготовления и одежда не могли не настроить ее на что-то необычное. До квартиры, где устраи-

вался праздник, нам надо было пройти несколько сот метров вверх по нашей улице. По ней сновал народ, как всегда в субботу вечером: запоздалые покупатели с пакетами из супермаркета вперемешку с молодежью, собравшейся в центр, чтобы зависнуть в «Макдоналдсе» или «Бургер Кинге», и потоком шли машины, теперь уже не только практичные, семейные, которые целенаправленно ехали по делам, на парковку или обратно, но появились и низкие, черные, блестящие авто, внутри которых гремели басы, а за рулем сидели мужчины-мигранты лет двадцати. Перед супермаркетом оказалась такая толпа, что нам пришлось даже остановиться, и худющая, пожилая, потрепанная жизнью дама на инвалидной коляске, обычно в это время суток обретающаяся здесь, заметила Ванью и Хейди и наклонилась вперед, тряся колокольчиком на палочке и улыбаясь самой своей детолюбивой улыбкой, которая им наверняка показалась страшной гримасой. Но они молчали, не кричали, только смотрели на нее не мигая. Сбоку от входа на земле сидел наркоман моего примерно возраста со стаканчиком в протянутой руке. Рядом с ним в клетке сидел кот, Ванья увидела его и повернулась к нам.

– Когда мы поедем на дачу, у меня будет котик, – заявила она.

– Котик! – сказала Хейди и показала на него пальцем.

Я спустил коляску на мостовую, чтобы объехать троицу перед нами, они еле переставляли ноги, зато считали, что тротуар – для них одних, быстро обогнал их и вернулся на тротуар.

– Видишь ли, Ванья, – сказал я, – это еще нескоро, наверно, будет.

– В квартире кошку держать нельзя, – сказала Ванья.

– Вот именно, – откликнулась Линда.

Ванья развернулась лицом вперед. И крепко сжала подарок обеими руками. Я взглянул на Линду.

– Как его зовут, отца Стеллы?

– Черт, забыла. Эрик, нет?

– Да, точно. А чем он занимается?

– Я не уверена, но мне кажется, дизайнер чего-то.

Мы шли мимо магазина сладостей «Готт Грувен», и обе – и Хейди, и Ванья – подались вперед, чтобы заглянуть в окно. В следующей двери оказалась брокерская контора. За ней магазинчик со статуэтками, украшениями, буддами, ангелами плюс благовония, чай, мыло и прочий нью-эйдж. В окнах висели афиши с объявлениями, когда именно гуру йоги и другие известные просветленные личности посетят сей город. Напротив были магазины дешевой одежды, всякие «Рико Джинс» и «Мода для всей семьи», а рядом «ТАБУ», такой типа «эротический» магазин, который для привлечения внимания заставил фаллосами и куклами в неглиже или корсетах всю витрину вплоть до двери, невидимой с улицы. За эротикой следовали «Шляпы и сумки Бергмана», с ассортиментом и интерьером, неизменным с момента основания магазина в середине сороковых годов прошлого века, и «Радио Сити», они недавно прогорели, но витрина по-прежнему манит светящимися экранами телевизоров и электроприборами самого диковинного предназначения, с большими кислотно-зелеными и оранжевыми наклейками с ценами. Общее правило состояло в том, что чем дальше по улице, тем дешевле и сомнительнее магазины. Это же касалось и публики. Здесь, в отличие от Стокгольма, где мы тоже жили в центре, бедность и неприкаянность были на улицах видны. Мне это нравилось.

– Пришли, – сказала Линда и остановилась перед дверью.

Чуть поодаль, рядом с залом игровых автоматов, курили три женщины лет пятидесяти с бесцветными лицами. Линда читала список имен на домофоне, наконец нажала на кнопку. Мимо один за другим с шумом прошли два автобуса. Дверь запищала, мы вошли в темный подъезд, оставили внизу коляску, прислонив ее к стене, и поднялись пешком на два этажа, я с Хейди на руках, а Линда с Ваньей за руку. Дверь в квартиру была не заперта. Внутри тоже оказалось темно. Мне не понравилось, что мы просто вошли, позвонить было бы лучше, тогда

бы наше появление было заметнее, теперь же мы маялись в коридоре и никто не обращал на нас внимания.

Я посадил Хейди на пол и снял с нее куртку. Линда попыталась проделать то же самое с Ваньей, но та запротестовала, потребовала сначала снять с нее сапоги, чтобы она смогла переобуться в золотые туфли.

По обеим сторонам коридора было по комнате. В одной играли разгоряченные дети, в другой стояли и разговаривали несколько родителей. В коридоре, уходившем дальше вглубь квартиры, стоял спиной к нам Эрик и беседовал с семейной парой из нашего садика.

– Привет! – окликнул его я.

Он не повернулся. Я положил куртку Хейди на пальто, лежавшее на стуле, и встретился взглядом с Линдой, она искала, куда бы пристроить Ваньину куртку.

– Зайдем сами? – спросила она.

Хейди обхватила руками мою ногу. Я поднял Хейди и сделал несколько шагов вглубь коридора. Эрик обернулся.

– Привет, – сказал он.

– Привет, – ответил я.

– Привет, Ванья! – сказал он.

Ванья отвернулась в сторону.

– Давай ты подаришь Стелле подарок, – сказал я.

– Стелла! К тебе Ванья пришла! – крикнул Эрик.

– Сам подари, – сказала Ванья.

Из группы детей встала Стелла. Она улыбалась.

– Поздравляю тебя с днем рождения, Стелла, – сказал я. – Ванья дарит тебе подарок. – Я взглянул на Ванью: – Отдашь сама?

– Ты, – ответила она тихо.

Я взял подарок и протянул его Стелле.

– Это от Ваньи и Хейди, – сказал я.

– Спасибо! – ответила она и разорвала упаковку. Увидев, что это книга, она положила ее на стол к другим подаркам и вернулась к детям.

– Как дела? – сказал Эрик. – Все норм?

– Да-а, – сказал я и почувствовал, что рубашка прилипла к груди. Он же не мог этого заметить, да?

– Какая славная квартира, – сказала Линда. – Трешка?

– Да, – кивнул Эрик.

У этого Эрика вечно вид человека себе на уме, как будто у него есть кое-что на того, с кем он говорит; его не поймешь, эту его полуулыбочку можно с равным успехом принять и за иронию, и за теплоту, и за робость. Будь он яркой или сильной личностью, я бы на этом месте насторожился, но он был тусклый, не то от слабости, не то от безволия, поэтому, что он там себе думает, не тревожило меня ни в малейшей степени. Но меня заботила Ванья, она стояла, прижавшись к Линде, и смотрела в пол.

– Остальные сидят на кухне, – сказал Эрик. – Там есть вино, если хотите.

Хейди уже зашла в комнату. И теперь стояла перед стеллажом и держала в руках деревянную улитку. Та была на колесиках и со шнурком, чтобы возить ее за собой.

Я кивнул семейству в коридоре.

– Привет, – сказали они.

Как же его зовут? Юхан? Или Якоб? А она, что ли, Пиа, да? Черт, нет, его Робин зовут.

– Привет, – сказал я.

– Все путем? – спросил он.

– Да-да, – кивнул я. – А у вас?

– И у нас тоже, спасибо.

Я улыбнулся им. Они улыбнулись мне. Ванья отцепилась от Линды и нерешительно зашла в комнату, где играли дети. Немного постояла, глядя на них. А потом как будто решила идти ва-банк.

– А у меня туфли золотые! – сказала она.

Наклонилась и сняла с ноги одну туфлю на случай, если кто-то попросит посмотреть. Но желающих не нашлось. Когда Ванья это осознала, она снова обулась.

– Ты разве не хочешь поиграть с ними вместе? – спросил я. – Садись к ребятам. Смотри, они играют в кукольный дом.

Она села рядом с ребятами, как я ей сказал, но в игру не вступила, просто сидела, и все.

Линда подхватила Хейди и двинулась с ней на кухню, я пошел следом. С нами все здоровались, мы отвечали. На кухне мы присели к большому столу, я – притиснувшись к окну. Разговор шел о билетах на лоукостеры, что сначала цена выглядит как подарок, потом докупаешь то-другое, и перелет в итоге обходится в те же деньги, что и у дорогих авиакомпаний. Дальше перешли на квоты на выбросы парниковых газов, затем на чартерные туры на поезде, свежее новшество. Я мог бы кое-что о них рассказать, но не стал, светский треп – одно из бесконечного множества искусств, которыми я не владею, поэтому я, как обычно, просто сидел, кивал на все сказанное, улыбался, когда другие улыбались, и отчаянно мечтал оказаться как можно дальше от этой кухни. Мама Стеллы, Фрида, стоя у разделочного стола, готовила заправку для салата. С Эриком они расстались, и, хотя во всем, что касается Стеллы, у них полное взаимопонимание, иногда на встречах детсадовских родителей раздражение и напряжение между ними бросаются в глаза. Она блондинка, у нее высокие скулы, узкие глаза, долговязое худое тело, она умеет одеваться, но слишком довольна собой, слишком зациклена на себе, чтобы я счел ее привлекательной. Я без проблем общаюсь с неинтересными или неоригинальными людьми, у них могут быть другие, куда более ценные достоинства, например теплота, умение заботиться, дружелюбие, чувство юмора, таланты, благодаря которым они ведут живую беседу, становятся надежным тылом для тех, кто рядом, строят функциональные семьи, – но мне делается физически плохо вблизи неинтересных людей, свято уверенных в своей исключительности и трезвонящих об этом во все колокола. Она водрузила миску с едой, которая оказалась намазкой, а вовсе не заправкой для салата, как я было подумал, на большое блюдо, где уже стояла тарелка с ломтиками морковки и ломтиками огурцов. В ту же секунду в кухню вошла Ванья. Локализовав нас, она подошла и встала рядом.

– Я хочу домой, – сказала она тихо.

– Мы только-только пришли, – сказал я.

– Мы еще побудем, – сказала Линда. – Сейчас вам сладкое дадут!

Это она про морковку с огурцами?

Судя по всему, да.

Они в этой стране все малость того.

– Пойдем вместе, – сказал я Ванье.

– А Хейди возьмешь? – спросила Линда.

Я кивнул, взял Хейди и понес ее в комнату к детям, Ванья плелась следом. За нами шла Фрида с подносом. Она поставила его на маленький столик посреди комнаты и сказала:

– Перекусите пока. А потом будет торт.

Дети, три девочки и мальчик, по-прежнему возились вокруг кукольного дома. В другой комнате двое мальчишек гонялись друг за другом. А перед стереосистемой стоял Эрик с диском в руке.

– У меня тут есть норвежский джаз, – сказал он. – Ты джазом интересуешься?

– Да-а… – протянул я.

– В Норвегии интересный джаз, – сказал он.

– А что за диск? – спросил я.

Он показал мне обложку. Название группы ничего мне не сказало.

– Здо́рово, – кивнул я.

Ванья встала сзади Хейди и пыталась ее поднять. Хейди сопротивлялась.

– Она говорит «не надо», оставь ее, – сказал я.

Ванья не унималась, и я подошел к ним.

– Не хочешь морковку? – спросил я.

– Нет, – ответила Ванья.

– А она с намазкой. Смотри, – сказал я, подошел к столику, взял ломтик моркови, окунул его в белую массу, видимо на сметанной основе, и сунул в рот. – Ням-ням, – сказал я. – Очень вкусно!

Почему нельзя было накормить детей сосисками, лимонадом и мороженым? Леденцами на палочке? Желе? Шоколадным пудингом?

Вот ведь чертова страна идиотов. Все поголовно молодые женщины пьют тут воду в таких количествах, что она из ушей льется, они уверены, что это *полезно для здоровья*, но единственный достоверный результат – резко вырос энурез у молодых. Дети питаются цельнозерновыми макаронами и цельнозерновым хлебом и престранными сортами бурого риса, с чем не справляются их животы, но это никого не волнует ввиду *натуральности* и *полезности* этой *здоровой* еды. Увы, они здесь спутали еду и дух, поверили, что можно *проесть* себе путь к улучшению себя как человека, не понимая, что еда – это одно, а представления о ней – другое. Но кто скажет такое или что-то в этом духе, тот реакционер или норвежец, короче, человек, который не догоняет, потому что отстал лет на десять.

– Я не хочу, – сказала Ванья. – Я не голодная.

– Ладно, – сказал я. – А смотри – поезд. Давай построим дорогу?

Она кивнула, мы сели на пол позади ребят. Я составлял деревянные рельсы полукругом и незаметно помогал Ванье попадать в пазы ее рельсин. Хейди переместилась в комнату напротив и двигалась вдоль полки, трогая все, что там стоит. Всякий раз, как мальчишки делали слишком резкое движение, она поворачивала голову и смотрела на них.

Эрик наконец запустил диск и прибавил громкость. Пианино, бас и перкуссия на непонятных инструментах, как любят джаз-ударники определенного типа, которые стучат камнем о камень и вообще пускают в ход все, что попадется под руку. На мой взгляд, иногда это бессмысленно, иногда смешно. И я терпеть не могу, когда публика аплодирует этому на концертах.

Эрик постоял, кивая в такт, потом повернулся, подмигнул мне и ушел на кухню. В этот момент раздался звонок, пришли Линус и Акиллес, его сын. Под верхней губой Линус перекатывал снюс, а одет был в черные джинсы и черное пальто поверх белой рубашки. Светлые волосы были чуть растрепаны, глаза, устремленные вглубь квартиры, – честные и наивные.

– Алоха! – сказал он. – Как твое ничего?

– Норм, – ответил я. – А у тебя?

– Жизнь бьет ключом.

Акиллес, мелковатый, но с большими черными глазищами, не спускал их с ребят на полу передо мной, пока стаскивал с себя куртку. Дети – как собаки, тотчас унюхивают в толпе своих. Ванья смотрела на Акиллеса. Он ее фаворит в саду, она выбрала его на роль нового Александра. Но, раздевшись и разувшись, он прямиком пошел к остальным ребятам, Ванья ничего не могла с этим поделать. Линус двинул в сторону кухни, и блеск в глазах, который я вроде бы уловил, не мог быть вызван ничем иным, кроме как желанием потрындеть.

Я встал посмотреть, где Хейди. Она сидела под окном рядом с юккой и раскладывала вокруг себя небольшими кучками землю из горшка. Я подошел к ней, поставил ее на ноги, собрал руками, как смог, землю обратно в горшок и пошел на кухню поискать, чем бы проте-

реть пол. Ванья увязалась за мной и на кухне сразу залезла к Линде на колени. В гостиной заплакала Хейди, и Линда посмотрела на меня вопросительно.

– Я ею займусь, – ответил я, – но мне бы тряпку, нужно там вытереть.

К разделочному столу было не подойти, похоже, там готовили целый обед, но я не стал к нему пробиваться, а пошел в туалет, отмотал побольше туалетной бумаги, намочил ее под краном и вернулся в гостиную, чтобы навести порядок. Все еще рыдающую Хейди я подхватил под мышку и понес в ванную отмывать ей руки от земли. Она брыкалась и вырывалась.

– Хорошая моя, не плачь, – приговаривал я, – сейчас помоемся, тут чуть-чуть только, ну…

Плач прекратился вместе с окончанием мытья, но Хейди по-прежнему была не в духе, не желала слезать на пол, а только болтаться у меня под мышкой. В гостиной Робин, скрестив руки на груди, наблюдал за своей дочкой Тересой, – она всего-то на несколько месяцев старше Хейди, а говорит развернутыми фразами.

– А ты что же, пишешь что-нибудь сейчас? – спросил Робин.

– Да, понемногу, – ответил я.

– А ты где пишешь, дома? – спросил он.

– Ну да, у меня своя комната.

– Это ж трудно, наверно? Неужели тебя не тянет посмотреть телевизор, или постирать, или еще что-нибудь?

– Да нет, нормально. Выходит чуть меньше рабочего времени, чем если бы у меня был кабинет где-нибудь в городе, но…

– Вот именно, – сказал он.

У него были довольно длинные светлые волосы, на затылке волнистые; голубые глаза; плоский нос и широкий подбородок. Крепышом его было не назвать, но и не хиляк. Одевался он как двадцатилетний, хотя ему было уже под сорок. Понятия не имею, что у него было на уме, о чем он думал в тот момент, но никакой загадки в нем вроде не было. Наоборот, лицо и манера создавали ощущение открытости. Хотя при этом что-то такое в нем чувствовалось еще, душок какой-то. Работа его состояла в интеграции беженцев в нашем округе, он мне как-то рассказал об этом, а я, задав пару уточняющих вопросов, сколько беженцев мы приняли и прочее, решил дальше не углубляться, потому что моя точка зрения и симпатии настолько отклоняются от единой нормы, которую, как я предполагал, представлял Робин, что рано или поздно это непременно выплыло бы наружу, и я бы, в зависимости от, оказался сволочью или идиотом, в чем особого смысла я не видел.

Ванья, сидевшая на полу чуть в стороне от детей, посмотрела на нас. Я спустил Хейди с рук, а Ванья будто того и ждала, сразу пришла, взяла Хейди за руку, подвела к полке с игрушками и всучила ей деревянную улитку, такую с рожками-антеннами, они крутятся, когда катишь улитку.

– Хейди! – Тут она забрала у сестры улитку и поставила ее на пол. – Тяни за шнурок. Колеса крутятся. Поняла?

Хейди схватила шнурок и дернула. Улитка опрокинулась.

– Нет, не так. Дай покажу.

Она поправила улитку и провезла несколько метров.

– А у меня есть сестренка! – заявила она во всеуслышание.

Робин отвернулся к окну и стал рассматривать внутренний двор. Стелла, энергичная и, видимо, оживленная сверх обычного из-за праздника и гостей, возбужденно крикнула что-то, чего я не разобрал, и показала пальцем на одну из двух маленьких девочек, та протянула ей куклу, которую держала в руке, Стелла положила куклу в коляску и покатила по коридору. Акиллес поладил с Беньямином, мальчиком на полтора года старше Ваньи; обыкновенно он сосредоточенно что-то делает, рисует, строит лего или играет с пиратским кораблем. Он

милый, самостоятельный и фантазер, и сейчас вместе с Акиллесом взялся достраивать железную дорогу, начатую нами с Ваньей. Обе маленькие девочки убежали следом за Стеллой. Хейди заныла. Должно быть, ей пора было поесть. Я пошел на кухню и подсел к Линде.

– Не сходишь к ним? – сказал я. – Мне кажется, Хейди голодная.

Линда кивнула, вскользь коснулась рукой моего плеча и ушла. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы сориентироваться в двух параллельных застольных разговорах. Один о машинах, второй о каршеринге; видимо, общий разговор только что разделился на отдельные ветки. Темнота за окном была густая, освещение на кухне нерасточительное, на продолговатых шведских лицах вокруг стола затенились складки, глаза блестели в свете свечей. Эрик, Фрида и еще одна женщина, имени которой я не помнил, стояли у разделочного стола спиной к нам и готовили еду. Меня переполняло сочувствие к Ванье, но сделать я ничего не мог. Сидел, смотрел на говорящего, чуть улыбался удачным репликам и тянул глоточками красное вино из бокала, который кто-то поставил передо мной.

Прямо напротив меня сидел единственный из присутствующих, не похожий на остальных. Большое лицо, шрамы на щеках, грубые черты, проницательные глаза. На нем была ковбойка а-ля пятидесятые и сильно подвернутые джинсы. Прическа тоже из пятидесятых плюс бакенбарды. Но не это отличало его ото всех, а харизма, ты неизбежно обращал на него внимание, хотя он почти не говорил.

Однажды в Стокгольме я был на вечеринке, где оказался боксер. Он тоже сидел на кухне, и его присутствие настолько давило физически, что у меня возникло отчетливое и неприятное ощущение собственной неполноценности. Что я менее полноценный, чем он. И удивительное дело – в течение вечера это подтвердилось. Сборище было у Коры, подружки Линды, в крошечной квартирке, так что народ толпился где мог. Из стереосистемы неслась музыка. На улице все белым-бело от снега. Линда дохаживала срок, и это могла оказаться последняя вечеринка, на которой мы успевали еще погулять, потом родится ребенок и все изменится, поэтому, хотя сил у Линды и оставалось немного, она решила пойти. Я стоял и разговаривал с Тумасом, фотографом и другом Гейра; с Корой Тумас познакомился через свою гражданскую жену Марию, она – поэт и была наставником Коры в Бископс-Арнё. Линда немного отодвинула стул от стола, чтобы поместился живот, смеялась, радовалась, и, думаю, никто, кроме меня, не чувствовал, что в последние месяцы она закрылась в себе и потихоньку раскалялась изнутри. Потом Линда встала и вышла, я улыбнулся ей и погрузился в разговор с Тумасом, он рассуждал о гене рыжеволосости, явно доминантном в собравшейся компании.

Где-то раздался стук.

«Кора! – услышал я. – Кора!»

Не Линдин ли голос?

Я встал и вышел в коридор.

Стук раздавался из ванной комнаты.

– Линда, это ты? – спросил я.

– Да, – сказала она. – Замок заклинило, кажется. Можешь позвать Кору? Она, наверно, знает, что с этим делать.

Я вернулся в гостиную и дотронулся до плеча Коры, она в одной руке держала блюдо с едой, а в другой бокал вина.

– Линда не может выйти из туалета, – сказал я.

– О нет, только не это! – Кора поставила блюдо и вино и бросилась выручать Линду.

Сначала они поговорили через запертую дверь, Линда старательно исполняла все инструкции, но безо всякого успеха – дверь не отпиралась. Все в квартире уже были в курсе событий, воцарилось смешливо-истеричное настроение, в коридоре собралась толпа советчиков, переговаривавшихся с Линдой, а встревоженная, на взводе Кора объясняла всем, что Линда на сносях и надо немедленно что-то делать. В конце концов решили вызывать слесаря.

Пока мы дожидались его, я стоял под дверью и вполголоса переговаривался с Линдой, ясно осознавая два неприятных факта: что все слышат наш разговор и что я на поверку оказался слабаком. Почему я не вышибу дверь, чтобы вызволить Линду? Просто и результативно.

Дверей я никогда не выбивал и не знал, насколько они податливы; а если я ударю, а силы не хватит, насколько дурацки я буду выглядеть?

Слесарь пришел через полчаса. Разложил на полу кожаный патронташ с инструментами и стал возиться с замком. Невысокого роста, в очках и с залысиной на лбу, он, никак не реагируя на обступивших его людей, пробовал инструмент за инструментом, но проклятая дверь не отпиралась. В конце концов он сдался и сказал Коре, что ничего не получается, замок ему не поддается.

– И что нам делать? – спросила Кора. – Она на сносях!

Он пожал плечами.

– Вышибите, и дело с концом, – сказал он и стал складывать инструмент.

Кто должен вышибать дверь?

Очевидно, я, это мое дело как мужа Линды.

Сердце отчаянно колотилось.

Браться ли мне за это дело? На глазах у всех сделать шаг назад и со всей силы ударить в дверь ногой?

А если она не поддастся? Или ушибет Линду?

Линде надо встать в угол. Я сделал несколько размеренных вдохов и выдохов, но дрожь не унималась. Хуже нет, чем оказаться в центре внимания при такой диспозиции. Но вдвое хуже, когда есть риск не справиться.

Кора огляделась вокруг.

– Придется выбить дверь. Кто бы это сделал?

Слесарь исчез за дверью. Если мне вызываться, то сейчас.

Но я не мог.

– Микке! – сказала Кора. – Он боксер.

Она собралась пойти за ним в гостиную.

– Я за ним схожу, – вызвался я. Чтобы, по крайней мере, не пытаться затушевать унизительность ситуации, а прямо дать понять, что у меня, мужа Линды, кишка тонка вышибить дверь, но я прошу тебя, силача и боксера, сделать это вместо меня.

Он стоял у окна с пивом в руке и болтал с двумя барышнями.

– Микке, привет, – сказал я.

Он посмотрел на меня.

– Она так и сидит взаперти. Слесарь не сумел открыть дверь. Может быть, ты сумеешь ее выбить?

– Конечно, – ответил он, смерил меня взглядом, поставил пиво на стол и пошел в коридор. Я следом. При виде его народ в коридоре расступился.

– Ты тут? – спросил он.

– Ну да, – ответила Линда.

– Отойди от двери как можно дальше. Я ее выбью.

– Хорошо.

Он немного подождал. Потом поднял ногу и с такой силой ударил в дверь, что она упала вместе с замком. Полетели щепки.

Увидев Линду, некоторые захлопали.

– Прости, – стала извиняться Кора. – Бедная. Это ж надо, чтобы именно с тобой такое, и так не вовремя…

Микке сразу ушел.

– Ты как? – спросил я.

– Нормально, – ответила Линда. – Но думаю, нам пора домой.

– Конечно, – кивнул я.

В гостиной тем временем выключили музыку, две женщины немного за тридцать готовились читать свои хлесткие стихи, я протянул Линде ее куртку, надел свою, попрощался с Корой и Тумасом, стыд жег, но надо было сделать еще одно – поблагодарить Микке, я протиснулся сквозь слушателей стихов к окну и встал перед ним.

– Спасибо. Ты ее выручил.

– Да брось, – сказал он и пожал широченными плечами. – Делов-то.

В такси по дороге домой я почти не смотрел на Линду. Я не сделал то, что должен был, струсил и передоверил другому. Все это читалось в ее глазах. Я чувствовал себя двоечником.

Когда мы легли спать, она спросила, что стряслось. И я сказал, что мне стыдно, я не выбил дверь сам. Линда посмотрела на меня с удивлением. Ей такая мысль и в голову не приходила. Как бы я это сделал? Это не в моем стиле.

Человек, сидевший сейчас напротив меня, чем-то напоминал того стокгольмского боксера. Не габаритами или мышечной массой; сейчас за столом было несколько здоровяков с накачанным торсом, но все они казались легкими, их присутствие воспринималось как незначительное, летучее, словно случайная мысль, – но качество, которое я пытаюсь описать, таково, что, встречаясь с ним, я всякий раз чувствую себя неудачником, вижу себя без прикрас: закомплексованный слабак, проводящий всю жизнь в мире слов. Я сидел и думал об этом, изредка поглядывал на моего визави и вполуха прислушивался к беседе. Речь шла о разных педагогических системах и в какую школу кто планирует отдать детей. После небольшой прелюдии, представленной рассказом Линуса, как он участвовал в их детсадовском спортивном дне, разговор перешел на цены на жилье. Констатировали, что цены страшно выросли, хотя в Стокгольме сильнее, чем здесь, и что, вероятно, они рухнут так же резко, как росли. Тут Линус повернулся ко мне.

– А в Норвегии что с ценами? – спросил он.

– Да все примерно так же, – ответил я. – В Осло – как в Стокгольме, в провинции – подешевле.

Он подождал, глядя на меня, – не захочу ли я обработать его пас, не воспользуюсь ли шансом вклиниться в разговор; но раз нет, так нет, он отвернулся и включился в прерванную беседу. Так же он поступил, когда мы первый раз пришли на родительское собрание, но в тот раз в порядке легкой критики, намекая, что встреча подходит к концу, мы с Линдой все еще ничего не сказали, а подобного рода кооперация родителей стоит на том, что все высказывают свою точку зрения. У меня не было никакого мнения по обсуждавшемуся вопросу, как и у Линды, но она, слегка покраснев, принялась от имени нашей семьи взвешивать возможные за и против под прицелом взглядов всего собрания. Речь, помнится, шла о поваре, не надо ли его уволить и перейти к доставке готовой еды, это дешевле, но в таком случае какой еды – вегетарианской или обычной? Дело в том, что создавался сад как вегетарианский, но сейчас таких семей осталось лишь две, и, поскольку у детей не было привычки есть всю эту зелень, встал вопрос, не отказаться ли от первоначального принципа. Обсуждение продолжалось уже несколько часов и прочесало тему сплошь, как тральщик морское дно. К примеру, был рассмотрен процент содержания мяса в разных сосисках и в пандан вопрос о том, что на магазинной упаковке цифры указаны, но как узнать, сколько мяса в сосисках из доставки? Я-то всегда думал, сосиски и сосиски, а тут передо мной открылся целый мир, включая людей, способных так глубоко в него погружаться. А чем плохо, что ребятам готовит повар, подумал я, но вслух не сказал, в надежде, что дискуссия обойдет нас стороной, – ан нет, в конце концов Линус вперил в нас взгляд, одновременно искушенный и наивный.

В гостиной заплакала Хейди. Я снова подумал о Ванье. Она обычно выходит из таких ситуаций, как сегодняшняя, повторяя все за остальными. Они подвинут стул, и она двигает,

они сядут на пол, и она садится, они засмеются, и она тоже, пусть и не понимая, над чем все потешаются. Они бегают, и она бегает, они кричат имя, и она кричит. Это ее метода. Но Стелла ее довольно быстро раскусила. Однажды я услышал, как она говорит Ванье: «Ты повторюшка! Как попугай! Попка!» Это не заставило Ванью отказаться от методы, доказавшей ранее свою успешность, но здесь, где правила бал Стелла, все же сдерживало ее. Ванья прекрасно соображала, что делает. Это я вычислил по тому, что несколько раз она пеняла Хейди, мол, ты – попугай и повторюшка.

Стелла на полтора года старше Ваньи и уже этим ее восхищает. Подружками они стали по милости Стеллы, и такая власть у нее надо всеми детьми в саду. Она красивый ребенок, у нее светлые волосы и большие глаза, она всегда продуманно и хорошо одета, а некоторая жестокость присуща ей не больше и не меньше, чем другим лидерам детсадовской иерархии. Проблема была в другом – она осознанно, ясно понимая, что производит на взрослых впечатление, манипулировала своим обаянием и невинной чистотой. Во время наших дежурств в детском саду я на это внимания не обращал. Как бы она ни сияла глазами, вперивая их в меня при каждом ко мне обращении, я интереса не проявлял, из-за чего она, естественно, чаще предпринимала попытки меня очаровать. Однажды после сада я взял ее погулять с нами в парке, она сидела рядом с Ваньей в двойной коляске, которую я вез одной рукой, держа на другой Хейди, и вдруг Стелла выскочила и решила добежать до парка сама, но я жестко крикнул, чтобы она сейчас же вернулась, и отчитал ее: разве она не видит, сколько машин, нельзя вылезать из коляски. Она посмотрела на меня с удивлением, к такому тону она не привыкла, я и сам был не в восторге от того, как справился с ситуацией, но сказал себе, что «нет» – далеко не худшее, с чем эта красавица может столкнуться. Но она затаила обиду, и когда полчаса спустя я стал играть с ними сначала в самолетик и крутить их за ноги вокруг себя – к их громкому восторгу, – а потом сел на коленки, чтобы побороться с ними, Ванья это обожает, особенно с разбега опрокинуть меня в траву, то Стелла, добежав до меня в свою очередь, саданула меня ногой по ноге, и в следующий раз тоже, два раза ладно, но она и в третий раз ударила меня, и я сказал ей: «Стелла, не делай так больше, мне больно», на что она, естественно, не обратила внимания, тем более азарт же, и снова врезала мне по ноге и громко засмеялась, и Ванья, всегда повторяющая за ней, тоже громко засмеялась, а я встал, взял Стеллу за талию и поставил перед собой. «Послушай, мерзавка», – хотелось мне сказать, и я бы так непременно и сказал, если бы через полчаса за ней не должна была прийти мама. «Послушай, Стелла, – сказал я вместо этого, строго и раздраженно, – когда я говорю «нет», я имею в виду «нет». Ты меня поняла?» Она смотрела в землю и не отвечала. Я пальцем приподнял ее подбородок. «Ты меня поняла?» – снова спросил я. Она кивнула, и я ее отпустил. «Я посижу на скамейке, а вы играйте сами, пока не придет твоя мама». Ванья недоуменно посмотрела на меня. Но потом засмеялась и потянула за собой Стеллу. Ванье такие сцены достаются каждый день. На мое счастье, Стелла не устроила скандала, потому что я ступил на тонкий лед. Что бы я стал делать, если бы она расплакалась или стала кричать? Но нет, она вместе в Ваньей устремилась к поезду, по которому уже лазила куча детей. Появилась мать Стеллы с двумя кофе латте в картонной подставке. Обычно я сразу сдаю вахту и ухожу, но сейчас она протянула мне стаканчик кофе, так что пришлось остаться и слушать ее болтовню о делах на работе, сидя под низким ноябрьским солнцем, щурясь и вполглаза присматривая за девочками.

Неделя дежурства в саду – по сути, просто работа воспитателем – прошла, как я и ожидал: у меня большой опыт с такими учреждениями, и я исполнял свои обязанности на том уровне, которого персонал, как я понял, не ожидал от родителей, к тому же мне не в новинку менять детям памперсы, одевать-раздевать их и даже играть с ними, если требуется. Дети, естественно, реагировали на мое присутствие по-разному. Один белокурый неуклюжий мальчик, с которым в саду никто не дружил, все время забирался ко мне на колени – то чтобы я ему почитал книжку, то просто посидеть. С другим я играл полчаса после закрытия; все разошлись, а его

мама опаздывала, но он позабыл обо всем на свете за нашей игрой в пиратский корабль, потому что я все время придумывал новые напасти: акулы, морские сражения, пожары. Третий, самый старший в группе, с ходу нащупал мое слабое место, во время обеда вытащив ключи у меня из кармана куртки, когда мы все сидели за столом. По одному тому, что я не остановил его, хотя разозлился, он сразу учуял расклад. Для затравки он спросил: «Это ключ от машины?» Когда я помотал головой, он спросил почему. У меня нет машины, ответил я. Почему? У меня нет прав. Ты разве не взрослый? Все взрослые умеют водить машину. И он потряс ключами у меня под носом. Я ничего ему не сказал в надежде, что ему надоест и он уймется, но он только сильнее разошелся. А твои ключи у меня, видел? И я их не отдам! Он тряс и тряс ключами у меня под носом. На нас стали коситься дети и трое остальных взрослых тоже. Я сделал ошибку, попытавшись неожиданно забрать ключи. Но он отдернул руку и захохотал, громко и глумливо. Ха-ха-ха, не сумел! – приговаривал он. Я снова перестал обращать на него внимание. Но он взялся лупить связкой ключей по столу. Не надо так делать, сказал я. Он нагло ухмыльнулся и давай лупить дальше. Одна из воспитательниц попросила его перестать. Он перестал. Но продолжал крутить ключи на пальце. Ты их никогда не получишь, сказал он. Тут вмешалась Ванья.

– Сейчас же отдай папе ключи! – сказала она.

Как назвать такую ситуацию?

Держа покер-фейс, я наклонился над тарелкой и продолжал есть, но дьяволенок гремел ключами. Звяк, звяк. Я решил, что оставлю ему ключи до конца обеда. Выпил воды, лицо горело – из-за такой-то ерунды! Не это ли заметил и Улав, директор сада? Во всяком случае, он вдруг твердо велел Юкке отдать мне ключи. Юкке отдал без звука.

Всю свою взрослую жизнь я держу с людьми дистанцию, это мой способ выживания, он связан и с тем, что в мыслях и чувствах я подхожу к другим настолько близко, что им достаточно секунду холодно посмотреть на меня, чтобы в моей душе разыгралась буря. Так же близость, естественно, распространяется и на мои отношения с детьми, именно поэтому я и могу присесть на корточки и вступить в их игру, но поскольку, в отличие от взрослых, они еще не отлакированы вежливостью и приличиями, то легко заходят за последние оборонные редуты моего «я» и вытворяют там что в голову взбредет. Единственное, что я мог бы противопоставить мальчику в той сцене, когда она уже набрала ход, была физическая сила, но к ней я не хотел прибегать, а полный игнор, лучшая, наверно, тактика, трудно мне дается, потому что дети, во всяком случае самые развитые из них, быстро понимают, как тяжела мне близость с ними.

Но до чего недостойная ситуация!

Внезапно все стало с ног на голову. Вот я, которому плевать на детский сад своей дочери Ваньи, а лишь бы отдать им девочку на несколько часов под присмотр и свободно поработать, не заморачиваясь, хорошо ли ей там и как она проводит время; я, который тяготится близостью людей, которому любая дистанция недостаточна, а времени побыть одному всегда мало, вдруг должен провести здесь неделю в качестве сотрудника, глубоко во все вникая, мало того, в саду принято, когда приводишь или забираешь ребенка, поиграть несколько минут в игровой, поболтать с другими родителями в столовой, – и так каждый божий рабочий день… Обычно я старался минимизировать процесс, забирал Ванью и успевал одеть ее, пока никто не сообразил, что происходит, но иногда я попадал в ловушку в коридоре, завязывалась беседа, и вот я уже сижу на низком диванчике и поддакиваю рассуждениям о чем-то, глубоко мне безразличном, а самые нахальные малыши тянут меня во все стороны, чтобы я их подкинул вверх, покрутил, поиграл, или, как Юкке, сын милейшего книголюба и банкира Густава, просто тычут в меня острыми предметами.

Убить почти всю субботу, сидя в тесноте за столом, питаясь зеленым кормом, напряженно, но вежливо улыбаясь, – это тоже входит в обязательную программу.

Эрик принялся доставать из шкафа тарелки, а Фрида пересчитывала ножи и вилки. Я отхлебнул вина и вдруг почувствовал, что очень хочу есть. В дверях появилась Стелла, красная и вспотевшая.

– Мама, сейчас будет торт? – спросила она.

Фрида обернулась:

– Скоро, счастье мое. Сначала нормальная еда.

Ее внимание переключилось с дочки на сидевших за столом.

– Вот, пожалуйста, подходите и угощайтесь, – сказала она. – Здесь тарелки, вилки. И детей кормите.

– О! – сказал Линус. – Поесть сейчас самое оно. А чем у вас кормят?

Я сидел, пережидая очередь, но, увидев, с каким уловом вернулся Линус: салат, фасоль, неизменный кускус и горячее лобио из нута, – встал и пошел в гостиную.

– Там еду дают, – сообщил я Линде; она с Хейди на руках и Ваньей, цеплявшейся за ее ногу, разговаривала с Мией. – Давай поменяемся?

– С радостью. Я чего-то оголодала.

– Папа, а домой можно идти? – спросила Ванья.

– Сейчас мы поедим, а потом торт будет, – ответил я. – Тебе еды принести?

– Не хочу.

Я подхватил на руки Хейди.

– Тебя мы, во всяком случае, покормим. А Ванье я что-нибудь принесу.

– Хейди съела банан, – сказала Линда. – Но она наверняка чего-нибудь еще поест.

– Тереса, – позвала Мия. – Пойдем, тебе тоже еды принесем.

С Хейди на руках я пошел за ними следом и встал в очередь. Хейди положила голову мне на плечо, так она делает только от изнеможения. Рубашка липла к груди. Каждое лицо перед глазами, каждый голос в ушах, каждый встречный взгляд ощущались как бремя. Когда меня о чем-то спрашивали или я сам задавал вопрос, слова как будто пробивали себе путь динамитом. С Хейди на руках дело шло веселее, она стала своего рода защитой, – и потому, что мне было кем себя занять, и потому, что переключала внимание людей вокруг на себя. Они улыбались ей, гладили по щечке, спрашивали, не устала ли она. Наши с Хейди отношения во многом строились на том, что я ее носил. Это была основа. Она хотела, чтобы ее все время носили, не желала ходить сама, тянула ко мне руки, как только я попадался ей на глаза, и довольно улыбалась, угнездившись на руках. А мне приятно было ее таскать, приятно прижимать к себе маленькое круглолицее создание с большими глазами и приоткрытым ртом.

Я положил на тарелку несколько стручков фасоли, пару ложек горячего нута и немножко кускуса и понес все это в гостиную, где дети расселись вокруг столика и ели, а из-за спины им помогали родители.

– Я не хочу, – немедленно сказала Ванья, не успел я поставить перед ней тарелку.

– Не хочешь – не надо, – ответил я. – Но вдруг Хейди захочет?

Я подцепил на вилку пару стручков и все-таки поднес Ванье ко рту. Она сжала губы и помотала головой.

– Не вредничай, – стал я уговаривать. – Я знаю, что вы голодные.

– Давай в поезд поиграем, – сказала Ванья.

Я взглянул на нее. Обыкновенно она смотрела бы или на поезд, или на меня, скорее всего умоляюще, но сейчас она говорила просто в воздух.

– Конечно, давай поиграем, – сказал я и с Хейди на руках переместился в угол комнаты; я втиснулся между детской мебелью и местом для игр так, что коленки почти уперлись в подбородок. Я разбирал пути и передавал кусок за куском Ванье, чтобы она сама их составляла вместе. Когда у нее не получалось, она давила на них со всей силы. Я выжидал и вмешивался, когда мне уже начинало казаться, что сейчас она в ярости зашвырнет кусок дороги куда подальше.

Хейди норовила в любую секунду разломать дорогу, и я искал взглядом, куда бы перенацелить ее энергию. Пазл? Мягкая игрушка? Маленький пластмассовый пони с длинными ресницами и пронзительно-розовой синтетической гривой? Все это она отшвырнула.

– Папа, помоги мне, – позвала Ванья.

– Угу. Давай вот здесь построим мост, чтобы поезд ездил по нему и под ним. Годится?

Хейди схватила деталь моста.

– Хейди! – сказала Ванья.

Я забрал деталь у Хейди, она завопила, я встал, держа ее на руках.

– У меня не получается! – сказала Ванья.

– Я сейчас вернусь, только отнесу Хейди маме, – сказал я и пошел на кухню, примостив Хейди на бедро, как опытная мать. Линда болтала с Густавом, единственным среди родителей «Рыси» обладателем нормальной старой профессии, они с ним как-то нашли друг друга. Жизнелюб, лицо всегда сияет, короткое, плотно сбитое тело упаковано в хорошую приличную одежду, мощный затылок, широкий подбородок, лицо плоское, но открытое и легкое. Он любит поговорить о книгах, и сейчас речь у них шла о Ричарде Форде.

– У него потрясающие книги! Читала? Например, герой – простой парень, риелтор, и вот Форд рассказывает его жизнь, такую будничную, такую понятную, что вся Америка читает. Потому что там дух американский, самый пульс этой страны!

Густав мне нравился, не в последнюю очередь за что-то очень правильное в нем, производное от простой, в сущности, вещи – наличия нормальной приличной работы, каковой, однако, не может похвастаться ни один из моих знакомых, не говоря уж обо мне самом. Мы с ним были одного возраста, но я воспринимал его как человека лет на десять старше. Он казался мне таким же взрослым, какими казались в детстве родители.

– По-моему, Хейди пора укладываться спать. Ты не хочешь пойти с ней домой? А то она явно устала. И голодная наверняка.

– Хорошо, поем и пойду, ладно?

– Конечно.

– А я подержал твою книгу в руках! – заявил Густав. – Зашел в книжный, а там она стоит. На вид интересная. Она в «Нурстедтсе» вышла?

– Ага, в «Нурстедтсе», – сказал я и натужно улыбнулся.

– Но ты же не стал ее покупать? – стала подзуживать его Линда.

– Нет, в этот раз не купил, – ответил Густав и промокнул губы салфеткой. – Она об ангелах, да?

Я кивнул. Хейди немножко сползла с моих колен, я подтянул ее повыше и почувствовал, что памперс очень тяжелый.

– Давай переодену ее, пока вы собираетесь, – сказал я. – Ты сумку из коляски не приносила?

– Принесла, она в коридоре лежит.

– Хорошо, – сказал я и пошел в коридор за памперсом. В гостиной носились Ванья и Акиллес, прыгали с дивана на пол, вскакивали, снова залезали на диван и опять спрыгивали. Я почувствовал тепло в груди. Наклонился и достал из сумки памперс и влажные салфетки; Хейди висела на мне как коала. Пеленального столика в ванной не было, я положил Хейди на кафельный пол, стянул с нее колготки, отодрал липучки на подгузнике, снял его и выбросил в мусорное ведро под раковиной; Хейди все это время серьезно смотрела на меня снизу вверх.

– Пи-пи делала, – сказала она, повернула голову вбок и уставилась в стену, как будто это не на нее я надевал подгузник; у нее с младенчества такая манера.

– Ну вот, – сказал я. – Готово!

Потянул ее за руки, и она встала. Колготки, оказавшиеся влажноватыми, я отнес в коляс очную сумку и там же нашел чистые легинсы, сверху я надел на нее коричневую вельветовую курточку на пуху, подарок Ингве ей на год. Линда пришла, когда я возился с ботинками.

– Мы вас скоро догоним, – сказал я. Мы поцеловались, Линда взяла одной рукой сумку, другой Хейди, и они ушли.

По коридору в комнату, очевидно спальню, с визгом пронеслась Ванья, преследуемая Акиллесом, и оттуда раздался ее возбужденный вопль. Идея вернуться на кухню снова за тот же стол не привлекала, я зашел в ванную, заперся и несколько минут просто стоял. Потом ополоснул лицо холодной водой, обстоятельно промокнул белым полотенцем, увидел в зеркале свой взгляд, истово мрачный, лицо, застывшее в маске такой фрустрации, что я аж вздрогнул.

На кухне моего возвращения никто не заметил. Хотя нет, невысокая сурового вида женщина с короткой стрижкой и заурядными, угловатыми чертами лица коротко взглянула на меня поверх очков. Что ей может быть от меня надо?

Густав и Линус обсуждали разные пенсионные схемы, молчаливый мужчина в ковбойке а-ля пятидесятые был увлечен беседой с сыном, непоседливым мальчишкой со светлыми, почти белыми волосами, он держал его на коленях, и речь у них шла о футбольном клубе «Мальмё»; Фрида договаривалась с Мией о клубном вечере, который они должны будут открывать; Эрик и Матиас сравнивали разные телевизоры, и Линус мечтал вклиниться в этот разговор, понял я по его взглядам в их сторону и коротким репликам, которыми он отвечал Густаву, чтобы не оказаться невежей. Та женщина с короткой стрижкой единственная не была вовлечена в беседы, и, хотя я старательно не смотрел в ее сторону, она сама вскоре развернулась в мою, подалась вперед и спросила, доволен ли я детским садом. Я ответил да. Приходится делать много разных вещей, добавил я, но оно того стоит, безусловно, ты же знакомишься с приятелями своего ребенка, а это важно, на мой взгляд.

Она безразлично улыбнулась в ответ на мои слова. Какая-то в ней чувствовалась тоска, несчастность.

– Черт! – вдруг ругнулся Линус и вскочил со стула. – Что они там вытворяют?

Он ринулся в ванную и вернулся, ведя перед собой Ванью и Акиллеса. Ванья улыбалась от уха до уха, Акиллес выглядел немного виноватым. Рукава его пиджачка были насквозь мокрые, а голые Ваньины руки блестели от воды.

– Они залезли руками в толчок чуть не по плечо, – доложил Линус. Я посмотрел на Ванью и не смог сдержать улыбку.

– Так, молодой человек, вам надо переодеться, – сказал Линус, препровождая Акиллеса в коридор. – А потом вымыть руки с мылом.

– Ванья, тебя это тоже касается, – сказал я, вставая. – Давай-ка в ванную.

Она вытянула руки над раковиной и посмотрела на меня:

– Я играю с Акиллесом!

– Вижу. Но разве обязательно по такому случаю лазить руками в унитаз?

– Да, – сказала она и засмеялась.

Я согрел руки под горячей водой, намылил их и стал тереть Ванье руки от пальцев до плеч. Вытер их, поцеловал Ванью в лоб и отправил играть дальше. Извиняющаяся улыбка, с которой я возвратился на свое место на кухне, была излишней, интермеццо никого не взволновало, включая и Линуса; вернувшись за стол, он продолжил с прежнего места рассказ о том, как у него на глазах в Таиланде обезьяны набросились на какого-то мужика, но даже бровью не повел, когда все заржали, и как будто вдыхал в себя их смех, чтобы за счет его энергии раздухариться еще больше, что ему сполна удалось: пошла вторая волна смеха; и только тогда Линус наконец улыбнулся, но не сильно и, что меня поразило, не своему остроумию: он как будто с удовлетворением купался в порожденном им самим смехе. «Да, да, да?» – сказал он

и махнул рукой. Суровая женщина, до того смотревшая в окно, придвинулась к столу и перегнулась через него в мою сторону.

– Трудно, наверно, когда у детей такая маленькая разница? – спросила она.

– И да, и нет, – сказал я. – Иногда мы устаем. Но все равно с двумя легче, чем с одним. С одним как-то тоскливо, на мой взгляд. Я всегда хотел трех детей, тогда они могут группироваться в разные альянсы. И у них численное преимущество перед родителями.

Я улыбнулся, она ничего не ответила, и тут до меня дошло, что у нее один ребенок.

– Но и с одним тоже бывает замечательно, – сказал я.

Она подперла щеку рукой.

– Я бы очень хотела, чтобы у Густава был брат или сестра, – сказала она, – мы вечно вдвоем да вдвоем.

– Ну нет, у него полно друзей в саду, – сказал я. – Этого достаточно.

– Все упирается в то, что у меня нет мужа, – сказала она. – Без него проблема не решается.

Вот какого черта, а? Я-то здесь при чем?

Я посмотрел на нее с сочувствием, но сам думал только о том, чтобы у меня взгляд не блуждал, – в таких ситуациях это со мной легко случается.

– Из мужиков, которые мне встречаются, я ни одного не представляю в качестве отца моего ребенка, – не унималась она.

– Все образуется, – сказал я.

– Я так не думаю, – ответила она. – Но все равно спасибо.

Уголком глаза я заметил движение у двери, повернулся и увидел Ванью. Она пробралась ко мне.

– Я хочу домой. Пойдем.

– Давай немножко подождем. Сейчас торт будет. Ты же хочешь торт?

Она не ответила.

– Ко мне залезешь? – спросил я.

Она кивнула, я отодвинул свой бокал с вином и подхватил ее на колени.

– Давай посиди с нами. А потом вместе вернемся в комнату. Ладно?

Она рассматривала людей за столом. Что она обо всем этом думает, стало мне вдруг интересно. Как все это выглядит с ее точки зрения?

Я посмотрел на нее: длинные светлые волосы уже ниже плеч, маленький нос, маленький рот, два маленьких уха, заостренные сверху, как у эльфа. Голубые глаза, в которых всегда читается ее настроение, чуть косят за стеклами очков, коими Ванья сначала гордилась. Теперь стоит ей рассердиться, она начинает с того, что их скидывает. Возможно, назло нам, раз уж мы так трепетно следим, чтобы она их носила.

С нами у нее глаза всегда живые и веселые, за исключением ее буйных приступов ярости; тогда взгляд невозможно поймать, глаза заперты. У нее недюжинный драматургический дар, благодаря своему темпераменту она крутит всей семьей, разыгрывает с игрушками сложные развернутые драмы отношений, обожает, чтобы ей читали вслух, а еще больше любит смотреть фильмы, причем игровые, про драмы и взаимоотношения, в которые она глубоко погружается и обсуждает с нами, восторженно пересказывая эпизоды и разрываясь от множества вопросов. Некоторое время ей хватало Мадикен, она спрыгивала со стула, укладывалась на полу, зажмурившись, а мы должны были бежать, поднимать ее и сначала думать, что она умерла, но потом догадываться, что нет, просто потеряла сознание из-за сотрясения мозга, и нести ее, желательно напевая на ходу мелодию из фильма, в кровать, где ей предстояло отлеживаться трое суток. Потом она вскакивала, снова бежала к стулу, чтобы сыграть все сначала. На рождественском празднике в детском саду она одна из всех поклонилась на наши аплодисменты, открыто наслаждаясь вниманием, в центре которого они все оказались. Для нее часто идея

важнее самого предмета; например, она может целую субботу зудеть, где же положенные сладости[1], но когда перед ней наконец ставят плошку с вожделенными мармеладными фигурками, она их пожует-пожует и выплюнет. Причем жизненного опыта у нее от этого не прибавляется, в следующую субботу все повторяется заново. Она мечтала о коньках, но когда обнаружила себя на катке, в маленьких конечках, подаренных ей бабушкой, и с хоккейным шлемом на голове, то завопила от негодования: ехать на них у нее не получалось, и получится, она чувствовала, еще очень нескоро. Тем сильнее была ее радость, что она может стоять на лыжах, когда мы на заснеженном пятачке в саду ее бабушки опробовали снаряжение, загодя для нее заготовленное. Но и тогда идея катания на лыжах и радость, что у нее получается, затмевали собственно удовольствие от катания, без него она бы отлично обошлась. Она обожает с нами путешествовать, оказываться в новых местах и месяцами потом болтает о том, как все было. Но больше всего она любит играть с детьми, конечно же. Нет ничего круче, чем если кто-то из ребят после сада идет к ней домой. Когда Беньямин должен был прийти первый раз, она весь вечер накануне пересматривала свои игрушки, достаточно ли они хороши для высокого гостя? Ей тогда только исполнилось три. Но когда он явился, они увлеклись друг дружкой, и все ее «домашние заготовки» пошли прахом, растворились в буйстве и радости. В итоге Беньямин сообщил своим родителям, что Ванья лучше всех в детском саду, я передал его слова ей, она увлеченно играла на кровати в своих Барби и отреагировала очень эмоционально, новым для меня образом.

– Знаешь, что сказал Беньямин? – спросил я, стоя в дверях.

– Не знаю, – сказала она, вдруг напрягшись.

– Что ты лучше всех в детском саду.

Она просияла. Я еще такого не видел: вся Ванья светилась от радости. Конечно, ни мои слова, ни Линдины ни за что и никогда не вызовут у Ваньи такой реакции; и меня внезапно озарило: она не принадлежит нам. Ее жизнь целиком и полностью ее лично.

– Что он сказал? – переспросила Ванья, чтобы услышать еще раз.

– Ты лучше всех в саду.

Она улыбнулась – смущенно, но так радостно, что и я обрадовался за нее, хотя не без тени беспокойства: не рановато ли чужие слова и мнения стали значить для нее так много? Не лучше ли опираться в этом на себя, исходя из собственных оценок? В другой раз она меня в этом смысле удивила; дело было в детском саду, я пришел ее забирать, она выбежала мне навстречу и спросила, может ли Стелла пойти с нами в конюшню. Я сказал, что не сегодня, потому что надо договариваться заранее и согласовывать с ее родителями, Ванья слушала меня с видимым разочарованием, но когда она побежала передавать ответ Стелле, то излагала свои аргументы, а не мои; я доставал дождевик из ее шкафа и услышал, как она говорит: «Тебе там будет скучно, неинтересно – смотреть и не кататься».

В ее способе рассуждения – исходить из чужих реакций, а не собственных – я узнал себя, и, пока мы под дождем шли к Фолькетс-парку, размышлял, как именно она его переняла. Неужели он разлит в воздухе вокруг нее, невидимый, но сущий, и она просто им дышит? Или это гены?

Подобные мысли о детях я не поверял никому, кроме Линды, потому что сложные материи хороши там, где им место, а именно в моей голове и в разговорах с Линдой. В реальности, то есть в мире, где жила Ванья, все было просто и транслировалось вовне тоже просто, а сложность возникала лишь при сведении частей вместе, чего Ванья, безусловно, не знала. Наши обсуждения детей ничем не помогали в каждодневной рутине, где царила непредсказуемость – обычно на грани хаоса. На первой «беседе о развитии ребенка» весь персонал детского

[1] Согласно скандинавской воспитательной традиции, детям сладости покупают раз в неделю, по субботам. Теперь, конечно, традиции следуют не так строго, но по субботам сладости покупаются непременно.

сада уделял много внимания тому, что Ванья не вступает с ними в контакт, не хочет, чтобы ее сажали на колени или гладили по голове, тушуется. Вы должны вырабатывать в ней характер, учить ее главенствовать в играх, проявлять инициативу, больше говорить. Линда сказала, что дома она круче некуда, заводила во всех играх, инициативы хоть отбавляй, болтает без умолку. В ответ они сказали, что в саду Ванья говорит очень мало, да и то выговаривает невнятно, говорить чисто и разборчиво не может, словарный запас довольно бедный и вообще, не хотим ли мы подумать о занятиях с логопедом? На этом месте беседы нам вручили буклет одного из практикующих в городе логопедов. Все-таки они в Швеции с ума посходили, подумал я. Какой логопед, ей всего три года? Зачем всех приводить к общему знаменателю?

– О логопеде не может быть и речи, – сказал я, вступив в беседу, до этого момента производимую Линдой. – Все выправится. Я лично вообще заговорил только в три года. А до того произносил отдельные слова, и кроме брата, меня никто не понимал.

Они улыбнулись.

– Но заговорил я сразу по-взрослому, длинными правильными предложениями. Тут все очень индивидуально. Мы не согласны отправлять Ванью к логопеду.

– Решать вам, – сказал Улав, директор садика. – Но почему бы вам не взять буклеты и не взглянуть на них дома?

– Хорошо, – был мой ответ.

Теперь я одной рукой приподнял ей волосы, а пальцем другой водил по затылку, шее и верху спины. Обычно Ванья это обожает, особенно перед сном, она полностью успокаивается, расслабляется, но сейчас вырвалась от меня.

По другую сторону стола суровая женщина вступила в беседу с Мией, всецело завладев ее вниманием, а Фрида с Эриком взялись убирать посуду и столовые приборы. Белый бисквитный торт с орнаментом из малины и с пятью воткнутыми свечками, следующий номер программы, уже красовался на рабочем столе рядом с пятью пакетами натурального яблочного сока «Браво» без сахара. Густав, до того сидевший вполоборота к стене, повернулся к нам.

– Привет, Ванья, – сказал он. – Весело тебе тут?

Не удостоившись ни вербального, ни визуального контакта, он взглянул на меня.

– Надо Юкке позвать тебя к нам домой, – сказал он Ванье, подмигнув мне. – Придешь?

– Да, – сказала Ванья, и глаза ее немедленно расширились. Юкке – самый высокий мальчик в саду, она и мечтать не могла сходить к нему в гости.

– Тогда мы это устроим, – ответил Густав. Он сделал глоток красного вина и промокнул губы тыльной стороной ладони. – Пишешь что-то новое? – спросил он меня.

Я пожал плечами:

– Да, пишу.

– Ты работаешь дома?

– Да.

– А как ты это делаешь? Сидишь и ждешь вдохновения?

– Нет, так далеко не уедешь. Просто работаю каждый день, как и ты.

– Интересно, интересно. Но дома многое отвлекает?

– Ничего, справляюсь.

– Тогда хорошо.

– Пойдемте все в столовую, – позвала Фрида. – Споем Стелле деньрожденную песню.

Она вытащила из кармана зажигалку и запалила все пять свечек.

– Какой красивый торт! – восхитилась Миа.

– Скажи? И в нем нет ничего вредного, – сказала Фрида. – В креме ни грамма сахара.

Она подняла блюдо.

– Эрик, можешь пойти выключить свет? – попросила она, пока гости вставали из-за стола и перемещались в коридор. Я шел за руку с Ваньей и как раз успел встать у дальней стены, когда

в темном коридоре появилась Фрида со светящимся тортом в руках. Как только ее стало видно сидящим за столом в комнате, она запела *«Ja må hon leva»*[2], остальные взрослые подхватили песню, и она гремела в маленькой гостиной, пока Фрида ставила торт на стол перед Стеллой, которая глядела сияющими глазами.

– Можно задувать? – спросила она.

Фрида кивнула, не переставая петь.

Свечи были задуты под всеобщие аплодисменты, я тоже хлопал. Потом включили свет и несколько минут раздавали ребятам торт. Садиться за стол Ванья отказалась, только у стены, где мы и устроились, она – с тарелкой на коленях. Тут я наконец заметил, что она без туфель.

– А где твои золотые туфли? – спросил я.

– Они глупые, – буркнула Ванья.

– Нет, они очень красивые. Как у настоящей принцессы.

– Они глупые.

– Но где они?

Молчит.

– Ванья? – повторил я.

Она подняла на меня голову: губы в белом креме.

– Там, – сообщила она, кивнув в сторону второй гостиной.

Я пошел туда, огляделся: туфель нет. Вернулся обратно.

– Куда ты их положила? Я не вижу.

– На цветке.

На цветке? Я вернулся обратно, осмотрел весь подоконник с цветами: ничего. Может, она юкку имела в виду?

Точно. Лежат в горшке под пальмой. Я взял их в руку, отряхнул от земли, потом сходил в ванную и оттер остатки, а только затем поставил в коридоре под стул, на котором лежала ее куртка.

Мне подумалось, что перерыв, когда все дети отвлеклись на торт, давал Ванье новый шанс включиться в общую игру, после перерыва она начнется заново.

– Пойду тоже торта поем, – сказал я Ванье. – Я на кухне, приходи, если что. Окей?

– Окей, папа.

Часы над дверью кухни показывали только половину седьмого. Домой пока никто не уходил, надо и нам еще побыть. Я стоя отрезал себе кусочек торта и сел напротив своего прежнего места, поскольку его заняли.

– Кофе тоже есть, если хочешь, – сказал Эрик с какой-то запанибратской многозначительной улыбкой, как будто бы в вопросе предполагалось двойное дно, а сам он, глядя на меня, видел больше, чем видно всем. Насколько я успел в нем разобраться, это его отработанный способ изображать из себя непростого человека, типа тех уловок, с помощью которых посредственные писатели пытаются создать иллюзию глубины в своих тривиальных рассуждениях.

Или он все же что-то такое сумел увидеть?

– Ага, спасибо, – сказал я, вставая, взял чашку из выставленных на разделочном столе и налил себе кофе из стоявшего там же серого кофейника «Стелтон». Когда я вернулся за стол, Эрик пошел к детям, а Фрида завела разговор о кофемашине, она только что ее купила, дорогое удовольствие, она едва решилась, но ничуть не жалеет, деньги потрачены не зря, кофе фантастический, отличная вещь, чтобы баловать себя, мы часто забываем об этом, а зря, баловать себя важно. Линус стал пересказывать сценку Джонса и Смита, где они вдвоем сидят за столом, перед ними френч-пресс с кофе, один давит на пресс и сжимает под ним не только

[2] «Да здравствует она…» – традиционная шведская песня для именинницы.

кофейную гущу, но и жидкость, так что под конец кофейник оказывается совсем пустой. Никто не засмеялся. Линус развел руками:

– Просто история о кофе. У кого-то есть лучше?

В дверях показалась Ванья. Обвела кухню взглядом, высмотрела меня и подошла.

– Хочешь уже домой? – спросил я.

Она кивнула.

– И я тоже хочу, – ответил я. – Только мне надо допить кофе и доесть торт. Залезешь пока ко мне на коленки?

Она снова кивнула. Я посадил ее к себе на колени.

– Ванья, очень хорошо, что ты пришла, – обратилась к ней Фрида с другого конца стола. – Скоро будем играть в рыбалку. Ты ведь будешь играть?

Ванья кивнула, и Фрида повернулась к Линусу: он пропустил какой-то сериал «Эйч-Би-О», она расхваливала его до небес.

– Ты хочешь дождаться рыбалки? – спросил я. – Сыграть, а потом уже уходить?

Ванья помотала головой.

«Рыбалка» выглядит так: ребенку дают удочку, и он закидывает крючок за покрывало, с другой стороны которого сидит взрослый и нацепляет на крючки что-нибудь из детского ассортимента, типа пакетиков со сладостями или мелких игрушек. Здесь они, наверно, насыпают в пакетики горох или артишоки, подумал я, пронес мимо Ваньиного носа вилку до блюда, ребром ее отломил кусок торта – коричневой коврижки под белым кремом с чем-то желтым посередке и красными полосками варенья – повернул руку, чтобы кусок лег на вилку, пронес ее мимо дочкиного носа еще раз и отправил торт себе в рот. Коврижка была сухая, крем недосладщенный, но вместе с кофе оказалось вполне ничего.

– Хочешь попробовать? – спросил я. Ванья кивнула. Я положил кусочек ей в рот, она посмотрела на меня и улыбнулась. – Давай вместе пойдем к ребятам? Посмотрим, что они там делают. Может быть, все-таки останешься поиграть в рыбалку?

– Ты сказал, что мы идем домой.

– Да, сказал. Тогда пошли.

Я положил вилку на тарелку, допил кофе, спустил Ванью на пол и встал. Огляделся. Не встретил ничьего взгляда.

– Мы пойдем, – сказал я.

И в эту секунду в кухню вошел Эрик с маленькой бамбуковой удочкой в одной руке и пакетом из супермаркета «Хемчёп» в другой.

– Сейчас будет рыбалка, – объявил он.

Кто-то встал, чтобы пойти посмотреть, кто-то остался за столом, внимания на мои слова не обратил никто. Повторять их посреди внезапно возникшего разброда смысла не было, я взял Ванью за плечо и повел одеваться. Эрик крикнул в гостиной «Рыбалка!», и дети толпой ринулись мимо нас в конец коридора, где от стены до стены была натянута белая простыня. Эрик, шедший последним, как заправский пастух за стадом, велел всем сесть на пол. Я стоял перед Ваньей, помогая ей одеваться, и они оказались точно у нас перед глазами. Я застегнул молнию на ее красном, уже впритык, пуховике, натянул на нее красную шапку *«РОР»* и затянул под подбородком ремешок, поставил перед ней сапоги, чтобы она сама засунула в них ноги, а после этого застегнул молнии и на них тоже.

– Ну вот, – сказал я. – Осталось попрощаться, и можем уходить. Иди сюда.

Она протянула ко мне руки.

– Иди сама, ножками, – сказал я.

Она помотала головой, продолжая тянуть ко мне руки.

– Ладно, хорошо, – сказал я, – но мне надо еще самому одеться.

А в коридоре Беньямин первым пошел на рыбалку. Он перекинул крючок через простыню, и кто-то, вероятно Эрик, потянул за него с той стороны.

– Клюет! – завопил Беньямин. Родители, стоявшие вдоль стены, заулыбались, дети на полу кричали и хохотали. В следующую секунду Беньямин дернул удочку на себя, и красно-белый пакет со сладостями из «Хемчёпа» проплыл над простыней, пристегнутой бельевой прищепкой. Беньямин снял пакетик с крючка и отошел в сторону, дабы открыть его спокойно и не торопясь, а тем временем следующий ребенок, а именно Тереса, взяла удочку и вместе с мамой пошла на рыбалку. Я накрутил на шею шарф, застегнул оверсайз-куртку от Пола Смита, купленную мной прошлой весной в Стокгольме на распродаже, надел приобретенную там же кепку, наклонился и в куче обуви, наваленной у стены, отыскал свои ботинки, черные «ранглеры» с желтыми шнурками, их я купил в Копенгагене, когда был там на книжной ярмарке, они мне никогда не нравились, даже в момент покупки, но с тех пор еще упали в моих глазах из-за воспоминаний о катастрофически неудачном выступлении на той ярмарке, где я не сумел толком ответить ни на один вопрос проницательного, полного энтузиазма интервьюера во время нашего сеанса на сцене. Я до сих пор не выбросил их только потому, что у нас было туго с деньгами. И эти желтые шнурки! Я завязал их и выпрямился.

– Я готов, – сказал я Ванье. Она опять протянула ко мне руки. Я поднял ее, пересек коридор и заглянул на кухню, где сидели и болтали четыре-пять родителей.

– Мы пошли, – сказал я. – Всего доброго, спасибо за приятный вечер.

– Вам спасибо, – ответил Линус. Густав приподнял руку в прощальном жесте.

Мы вышли в коридор. Я положил руку на плечо стоявшей у стены Фриды, чтобы привлечь ее внимание, но она была совершенно поглощена рыбалкой.

– Нам пора идти, – сказал я. – Спасибо за приглашение! Праздник был очень хороший, просто очень!

– Ванья не остается на рыбалку? – спросила она.

Я скорчил многозначительную мину, призванную выразить «ты же знаешь, как мало логики в поступках детей».

– Ну да, – сказала она. – Но спасибо, что пришли. До свиданья, Ванья!

Мия, стоявшая рядом, позади Тересы, сказала:

– Ванья, подожди!

Она перегнулась через простыню и спросила Эрика, или кто там сидел, не даст ли он ей пакетик сладостей. Он дал, и Тереса протянула его Ванье:

– Ванья, вот, возьми домой. И можешь поделиться с Хейди, если хочешь.

– Не хочу, – ответила Ванья и прижала пакет к груди.

– Спасибо, – сказал я. – Всем пока!

Стелла обернулась и посмотрела на нас.

– Ванья, ты уходишь? Почему?

– До свидания, Стелла, – сказал я. – Спасибо, что позвала нас на свой праздник.

Я повернулся и пошел. Вниз по темной лестнице, через первый этаж и на улицу. Голоса, крики, шаги и тарахтение моторов беспрерывно отдавались между стен домов, то громче, то глуше. Ванья обхватила меня руками за шею и положила голову мне на плечо. Она так никогда не делает. Это Хейдина привычка. Мимо проехало такси с включенным огоньком на крыше. Прошла пара с коляской: женщина совсем молодая, лет двадцати, замотанная в платок. И кожа на лице грубая, заметил я, когда мы с ними поравнялись, как будто она слишком толстый слой пудры положила. Он старше ее, моего примерно возраста, и озирается беспокойно. Коляска у них той смешной конструкции, когда люлька с ребенком стоит на тоненьких, похожих на стебельки, трубках, приделанных к колесам. Навстречу нам шла ватага пацанов лет пятнадцати-шестнадцати. Черные, зачесанные назад волосы, черные кожаные куртки, черные брюки

и на двоих по крайней мере кроссовки «Пума» с эмблемой на мыске, мне они всегда казались идиотскими. На шее золотые цепочки, движения рук неуклюжие, неловкие.

Туфли!

Вот черт, они остались наверху.

Я остановился.

Оставить их там лежать?

Нет, это глупость, мы ведь не успели даже отойти от подъезда.

– Нам надо вернуться, – сказал я, – мы забыли твои золотые туфли.

Она выпрямилась.

– Я их больше не хочу.

– Знаю, – кивнул я. – Но мы не можем просто бросить их там. Мы отнесем их домой, а там они будут не твои.

Я бодро поднялся обратно, спустил с рук Ванью, открыл дверь, сделал шаг в квартиру и взял туфли, не глядя вглубь квартиры, но одного все же не избежал: выпрямившись, я встретился взглядом с Беньямином, он сидел на полу в белой рубашке и одной рукой катал машинку.

– Пока! – сказал он и помахал другой рукой.

Я улыбнулся.

– Пока, Беньямин, – сказал я, прикрыл за собой дверь, взял Ванью на руки и снова пошел вниз. На улице было ясно и морозно, но весь наличный в городе свет, от фонарей, витрин и машин, собрался наверху и лежал на крышах домов сияющим куполом, непроницаемым для блеска звезд. Из всех небесных тел была видна одна лишь Луна, почти полная, висевшая над «Хилтоном». Пока я быстро шел по улице, Ванья обнимала меня за шею, и над нашими головами висело белое облако надышанного нами пара.

– Или Хейди возьмет мои туфли, – сказала она внезапно.

– Когда она станет такая же большая, как ты, – сказал я.

– Хейди любит туфли, – сказала она.

– Да, – согласился я.

Некоторое время мы шли молча. Перед «Сабвеем» рядом с супермаркетом стояла безумная седовласая старуха и пялилась в окно. Агрессивная, непредсказуемая, с тугим пучком седых волос, она зимой и летом ходит по району, всегда в одном и том же бежевом пальто, и обыкновенно сама с собой разговаривает.

– А у меня будут гости на день рождения, папа? – спросила Ванья.

– Если ты захочешь.

– Я хочу, – сказала она. – Я позову Хейди, тебя и маму.

– Звучит хорошо, прекрасная компания, – сказал я и перехватил ее другой рукой.

– А знаешь, чего я хочу в подарок?

– Нет.

– Золотую рыбку, – сказала она. – Подарите?

– Э-эм, – заблеял я. – Чтобы завести золотую рыбку, надо уметь ухаживать за ней. Кормить, менять воду. Мне кажется, человек должен быть постарше четырех лет.

– Я умею кормить рыбок! И у Йиро уже есть. А он меньше меня.

– Это правда, – сказал я. – Посмотрим. Главное в подарке на день рождения – чтобы он был сюрпризом, в этом все дело.

– Сюрпризом?

Я кивнул.

– Дерьмо! – сказала сумасшедшая, она была всего в нескольких метрах от нас. – Дерьмище!

Уловив движение, она обернулась и посмотрела на меня. Ох, ну и злые же глаза.

– Чего это ты за галоши тащишь? А? – сказала она нам в спину. – Папаша! Чего это у тебя за галоши? А ну-ка поговори со мной!

А потом громче:

– Вы дерьмо! Дерьмо!

– А что тетя сказала? – спросила Ванья.

– Ничего. – Я крепко прижал ее к себе. – Ты моя самая большая радость, Ванья. Знаешь это? Самая-самая большая.

– Больше, чем Хейди?

Я улыбнулся.

– Вы две самые большие радости, ты и Хейди. Одинаково большие.

– Хейди больше, – сказала она бесстрастным тоном, как будто это прописная истина.

– Что за глупости? – возмутился я. – Ну ты глупышка.

Она улыбнулась. Я смотрел мимо нее, на огромный и почти безлюдный супермаркет, где по обеим сторонам проходов между полок и прилавков сверкали товары. Две кассирши сидели каждая за своей кассой, глядя перед собой и поджидая покупателей. На светофоре наискось от нас заурчал мотор, я повернул голову на звук и увидел огромную машину вроде джипа, они в последние годы наводнили улицы. Нежность к Ванье переполняла меня, едва не разрывала. Чтобы как-то с ней справиться, я побежал трусцой. Мимо «Анкары», турецкого ресторана с танцем живота и караоке, сейчас пустого, хотя по вечерам у его дверей клубятся хорошо одетые, пахнущие туалетной водой и сигаретным дымом восточного вида люди; мимо «Бургер Кинга», возле которого нереально толстая девушка, одетая в шапку и митенки, в одиночестве пожирала бургер на скамейке; мимо винного магазина и Хандельсбанка, где я остановился на красный свет, хотя машин не было видно ни в ту ни в другую сторону. Ванью я все время крепко прижимал к себе.

– Видишь Луну? – спросил я, пока мы стояли, и показал на небо.

– Угу, – сказала она. Помолчала и добавила: – А люди на ней бывали?

Она отлично знала, что бывали, но отлично знала, что мне только дай порассказывать обо всем таком.

– Бывали, – сказал я. – Когда я только родился, на Луну отправились несколько человек. Они плыли туда на космическом корабле несколько дней. Это очень далеко. А там они обошли все кругом.

– Ничего они не плыли. Они летели.

– Ты права, – сказал я, – они летели на ракете.

Зажегся зеленый свет, и мы перешли на другую сторону, где угол площади и наш дом. Худощавый парень в кожаной куртке и с довольно длинными волосами стоял перед банкоматом. Одной рукой он взял из прорези карту, другой откинул со лба волосы. Он сделал это очень по-женски и комично, поскольку все остальное в его облике, вся его хеви-метал-амуниция, должна была производить впечатление тяжелое, мрачное и маскулинное. Ветер подхватил и разметал маленькую стопку чеков, валявшихся на земле у него под ногами. Я сунул руку в карман и вытащил ключи.

– Что это? – Ванья показывала на две машины для фруктового льда, выставленные перед окошком тайской еды навынос, соседним с дверью в наш подъезд.

– Фруктовый лед, – ответил я. – Ты же знаешь.

– Да. Я хочу!

Я взглянул на нее:

– Нет, это не годится. А ты голодная?

– Да.

– Могу купить куриный шашлык. Хочешь?

– Да.

– Окей, – сказал я, спустил ее с рук и открыл дверь в заведение; фактически оно было выемкой в стене, но исправно каждый день наполняло наш балкон семью этажами выше запахом жареного лука и лапши. Здесь продавали коробку с двумя блюдами за сорок пять крон, и я отнюдь не первый раз стоял тут перед стеклянным прилавком и заказывал еду у тощей, кожа да кости, тяжко работающей безликой азиатской девушки. Рот у нее всегда был открыт, поверх зубов виднелись десны, взгляд равнодушный, как будто ей все безразлично. На кухне управлялись двое юношей того же возраста, я видел их лишь мельком, а между ними скользил мужчина лет пятидесяти, его лицо тоже ничего не выражало, но позволяло заподозрить намек на приветливость, по крайней мере, когда мы сталкивались с ним в длинных, лабиринтоподобных коридорах под домом, он – неся что-то в чулан или из него, а я – по дороге на помойку, в постирочную, выкатывая велосипед и так далее.

– Донесешь? – спросил я Ванью, протягивая ей теплую коробку, выставленную на прилавок через двадцать секунд после заказа. Ванья кивнула, я расплатился, мы зашли в соседнюю дверь, и Ванья поставила коробку на пол, чтобы дотянуться до кнопки лифта. Она бдительно считала все этажи, пока мы ехали. У двери квартиры отдала коробку мне, распахнула дверь и закричала «Мама!», еще не переступив порог.

– Сначала сними ботинки, – сказал я, поймав ее. Линда тут же вышла из гостиной. Слышно было, что там работает телевизор. От стоявших в углу, рядом со сложенной двойной коляской, пакета с мусором и двух пакетов с памперсами чуть приванивало гнилью и чем похуже. Рядом валялись ботинки Хейди и куртка.

Какого черта Линда не убрала их в шкаф?

Коридор был завален одеждой, игрушками, ненужной рекламой, колясками, сумками, бутылками с водой… Она сюда, как пришла, не заглядывала, что ли?

А лежать телевизор смотреть – это да, пожалуйста.

– А мне дали конфеты, хотя я не ловила! – сказала Ванья.

Так вот что для нее важно, подумал я, стягивая с нее ботинки. Она дергалась от нетерпения.

– И я играла с Акиллесом!

– Здорово! – сказала Линда и присела перед ней на корточки. – А что там за конфеты?

Ванья открыла пакет.

Как я и думал. Экологичные сладости. Наверняка из магазинчика, только что открывшегося в торговом центре напротив. Орехи в цветном шоколаде. Жженый сахар. Какие-то конфетки из изюма.

– Можно я их сейчас съем?

– Сначала куриный шашлык, – сказал я. – На кухне.

Повесил ее куртку на крючок, убрал ботинки в шкаф, пошел на кухню, выложил на тарелку куриный шашлык, спринг-ролл и немного лапши. Достал вилку и нож, налил стакан воды, поставил все перед ней на стол, буквально заваленный кисточками, красками, ручками, плюс бумага и грязная вода в стакане.

– Все нормально прошло? – спросила Линда и присела рядом с ней.

Я кивнул. Прислонился спиной к рабочему столу и сложил руки на груди.

– Хейди сразу заснула? – спросил я.

– Нет. У нее температура оказалась. Она поэтому и капризничала.

– Опять? – сказал я.

– Да, но не очень высокая.

Я вздохнул. Повернулся и оглядел посуду, расставленную по рабочей столешнице и замоченную в мойке.

– Ну и бардак здесь, – сказал я.

– Я хочу кино посмотреть, – включилась Ванья.

– Нет, сейчас нет, – сказал я. – Ты уже сто лет как спать должна.

– Хочу кино!

– А ты что смотрела по телевизору? – спросил я и почувствовал на себе взгляд Линды.

– Ты что-то имеешь в виду?

– Ничего особенного. Я видел, что ты смотришь телевизор. И спросил, что показывают.

Теперь она вздохнула.

– Не буду спать! – сказала Ванья и замахнулась шпажкой от шашлыка, словно намереваясь ее швырнуть. Я схватил ее за руку.

– Положи, – сказал я.

– Можешь посмотреть телевизор десять минут, – сказала Линда. – Я положу конфеты в мисочку, возьми с собой.

– Я только что сказал, что никакого телевизора.

– Десять минут, и потом я сама ее уложу, – сказала Линда и встала.

– Да ну? А я буду весь этот срач разбирать?

– Ты о чем? Делай что хочешь. Я все это время была с Хейди, если ты об этом. Она температурила, ныла, капризничала…

– Я пойду покурю.

– И изводила меня.

Я надел куртку и ботинки и вышел на балкон, обращенный на восток, где я любил посидеть покурить, потому что здесь есть навес, а людей внизу увидишь в кои веки раз. С другой стороны у нас лоджия на всю квартиру, двадцать метров в длину, но там нет навеса, а смотрит она на площадь, вечно запруженную народом, гостиницу, торговый центр, а дальше до Магистратспаркена тянутся фасады домов. Но я хотел покоя, хотел не видеть людей, поэтому я закрыл за собой дверь маленького балкона, сел на стул в углу, раскурил сигарету, положил ноги на решетку и смотрел на внутренние дворы и коньки крыш, жесткие контуры, над которыми высоко и величественно вздымался небосвод. Вид здесь все время менялся. Порой облака собирались в огромные груды, похожие на горы с их склонами, выступами и обрывами, долинами и пещерами, загадочным образом зависшие посреди голубого неба, а порой откуда-то издалека наползал атмосферный фронт, как будто кто-то подоткнул под горизонт темно-серое одеяло, и если дело происходило летом, то иногда несколькими часами позднее эффектные молнии уже вспарывали темноту с интервалом в секунды, а по крышам катился гром. Но и самую безыскусную небесную самодеятельность я тоже любил, какую-нибудь ровную, дождевую серость: на ее фоне базово-темная расцветка дворов подо мной сама собой делалась яркой и сияющей. Ярь-медянка крыш! Рыжие кирпичи! И золото башенных кранов, разве оно не пылает среди белесой серости? Или обычный летний день, когда небо ясное и голубое, солнце печет, контуры редких легчайших облачков размыты, но выпирающий массив домов блестит и сияет. Или наступает вечер: сначала красноватое зарево на горизонте, будто там что-то горит, потом светлая, мягкая темнота, под чьей дружелюбной дланью город в счастливом изнеможении от долгого пропеченного солнцем дня затихает и обретает покой.

На этом небе светятся звезды, парят спутники, прилетают и улетают из Каструпа и Стурупа самолеты с горящими огнями. А приспичит увидеть людей – подойди к перилам и смотри в соседский двор, там время от времени в окнах дома мелькали стертые лица жильцов по ходу их непрестанного перемещения между комнатами и дверями: в одном месте открывают дверцу холодильника, мужчина в одних лишь трусах-боксерах что-то достает из него, закрывает дверцу и садится за кухонный стол; в другом – хлопает входная дверь, и женщина в пальто и с сумкой через плечо устремляется вниз, накручивая круги по винтовой лестнице; а в третьем – пожилой, судя по силуэту и скованности движений, мужчина гладит одежду; закончив, он гасит свет, и комната умирает. Куда прикажете смотреть? Наверх, где еще один мужчина время от времени подпрыгивает на полу и машет руками, развлекая кого-то нам невидимого,

но скорее всего ребенка? Или на женщину лет пятидесяти, что часто стоит у окна и смотрит наружу?

Нет, зачем нарушать покой людей, разглядывая их? Я блуждал взглядом то поверху, то понизу, но не в желании рассмотреть, что там происходит, не в погоне за красотой, а чтобы дать глазам отдых. И чтобы побыть одному.

Я поднял с пола стоявшую рядом со стулом ополовиненную двухлитровку колы лайт и налил в стакан на столе. Кола стояла без крышки и выдохлась, от этого проступил отчетливый терпкий привкус подсластителя, обычно забиваемый пузырением газировки. А мне все равно, я мало обращаю внимания на вкус.

Я поставил стакан на стол и придавил окурок. Из всех чувств к людям, с которыми я только что провел несколько часов, во мне не осталось ничего. Пропади они все пропадом, я бы ничего не почувствовал. Это одно из моих жизненных правил. Когда я вместе с людьми, я к ним привязан, переживаю неслыханную близость, высокую эмпатию. Настолько высокую, что их удобство для меня всегда важнее моего собственного. Я подчиняю свои интересы их интересам, доходя до грани самоуничижения; какой-то неконтролируемый внутренний механизм заставляет меня отдавать первенство их мнениям и чувствам. Но когда я один, другие не значат для меня вообще ничего. Дело не в том, что я их недолюбливаю или они мне отвратительны, как раз наоборот, большинство из них я люблю, а если не прямо люблю-люблю, то, во всяком случае, отдаю им должное, вижу какую-то их черту или особенность, которая для меня ценна или хотя бы интересна в этот самый момент. Но моя симпатия не предполагает включенности в человека. Социальная ситуация меня обязывает, да – но не поставленные в нее люди. Никакой середины между этими крайностями не имеется. Или малость и самоуничижение, или нечто огромное, предполагающее дистанцию. Но жизнь-то, она происходит где-то посередке. Может быть, поэтому она так трудно мне дается. Простую будничную жизнь с ее рутиной и ритуалами я терпел, но она не радовала меня, не делала счастливым, и смысла в ней я не видел. И речь не о том, что мне неохота мыть полы или менять памперсы, а о чем-то более глубоком, об отсутствующем у меня ощущении ценности простой жизни, о никогда не оставляющем меня желании сбежать куда подальше. Так что я жил жизнью, которую не считал своей. Я старался сделать ее своей, хотел этого, вел эту мою борьбу, но у меня не получалось: тоска по чему-то иному, другому сводила все усилия на нет.

В чем же проблема?

В невыносимом для меня назойливо-пронзительном, нездоровом тоне, присущем общественной жизни, любому псевдочеловеку и псевдоместу, псевдособытию и псевдоконфликту, что наполняют собой нашу жизнь, на которую мы взираем, не принимая участия, и в проистекающей из этого отдаленности общей жизни от нашего личного, в сущности неотъемлемого «здесь и сейчас»? Но раз так, раз мне не хватает подлинности, настоящей вовлеченности, надо бы благодарно принимать то, что меня уже окружает? И не рваться от него прочь? Или этот мир так раздражает меня расписанностью моей жизни на много дней вперед, накатанными рельсами, делающими ее настолько предсказуемой, что приходится вкладываться в удовольствия, дабы внести в нее хоть искру энергии? Всякий раз, выходя за порог, я знаю, что будет дальше и что мне делать. Так происходит и в малом – иду в магазин и покупаю еду, захожу в кафе и сажусь за столик почитать газету, забираю из детского сада детей – и в большом, от вхождения в общую жизнь в первый детсадовский день и до выхода из нее через дом престарелых. Или мое отвращение объясняется нарастающей во всем мире тенденцией к обезличиванию, ведущей к общему измельчанию? Если вы сегодня проедете по Норвегии, то везде увидите одно и то же. Одинаковые дороги, одинаковые дома, одинаковые заправки и магазины. Совсем недавно, в конце шестидесятых, пересекая Гюлльбраннсдален, вы бы обратили внимание, как меняется там жизнь; например, как странные черные деревянные дома, такие безыскусные и угрюмые, превращаются в музеи внутри точно такой же культуры, что и в исходной или конечной точке

вашего путешествия. И Европа, все более и более сливающаяся в одну большую единообразную страну. Одно и то же, одно и то же, везде и всюду одно и то же. Или оно так устроено, что свет, освещая мир и делая понятным, одновременно освобождает его от смысла? Может быть, суть в исчезнувших лесах, вымерших видах животных, старинных укладах жизни, которые уже не вернутся?

Да, так я думал, от этих мыслей одолевали тоска и бессилие; и если я внутренне к какому-то миру и обращался, то исключительно к шестнадцатому, семнадцатому столетиям с их бескрайними лесами, с их парусными судами, конными повозками, ветряными мельницами, с их замками и монастырями, миниатюрными городами, населенными художниками и мыслителями, путешественниками и первооткрывателями, священниками и алхимиками. Каково было бы жить в мире, где все произведено исключительно силой рук, ветра или воды? В мире, где американские индейцы живут себе своей привычной жизнью. И где такой способ жизни фактически является реальной возможностью. И где Африка еще не завоевана. Где темнота наступает с заходом солнца, а свет появляется с восходом. А люди так малочисленны и технические средства столь примитивны, что не то что уничтожить, но и оказать хоть сколько-нибудь заметное влияние на поголовье зверья они не могут. Где добраться из места в место стоит больших усилий, комфорт достается только самым богатым, море кишит китами, в лесах рыщут волки и бродят медведи, и где за тридевять земель, говорят, есть диковинные страны, ни в сказке сказать, ни пером описать, вроде Китая, куда путешествие не просто занимает много месяцев и немыслимо ни для кого, кроме горстки моряков и купцов, но и чревато гибелью. Тот мир был грубым, нищим, грязным, вечно пьяным, невежественным, полным болезней и страдания, но он дал величайшего писателя – Шекспира, величайшего художника – Рембрандта, величайшего ученого – Ньютона, и в своей области ни один из них до сих пор не превзойден. Вот почему именно то время достигло такой полноты? Может быть, смерть была ближе, а оттого жизнь – крепче?

Как знать.

Обратного хода нет: все, что мы делаем, неотменимо, а оглядываясь назад, человек видит не жизнь, а смерть. Когда кто-то винит в своей неприспособленности к жизни время и нравы, он или глупец, или сумасшедший и уж точно не имеет навыка разбираться в себе самом. Я многое не приемлю в современности, но не она порождает ощущение бессмысленности, потому что оно не является постоянным… Например, той весной, когда я переехал в Стокгольм и встретил Линду, мир внезапно открыл мне себя, причем его насыщенность нарастала с дикой скоростью. Я был без памяти влюблен, все было мне по плечу, радость захлестывала меня чуть не каждую секунду и покрывала все вокруг. Скажи мне кто-нибудь тогда о тщете и бессмысленности, я бы расхохотался ему в лицо, потому что я был свободен, у моих ног лежал открытый мир, переполненный осмысленностью всего – от поездов, которые, футуристично мигая огнями, проезжали через Слюссен под моей квартирой, до красивых апокалиптической красотой девятнадцатого века закатов, когда солнце багрило шпили церквей на Риддархольмене, чему я бывал свидетелем каждый вечер все эти месяцы; от запаха свежего базилика и вкуса спелых помидоров до цоканья каблуков по брусчатке на спуске к отелю «Хилтон», где мы однажды ночью сидели на скамейке, держась за руки, зная, что мы вдвоем и есть, и будем. Я прожил в таком состоянии полгода, полгода я был абсолютно счастлив, никакой отстраненности ни от себя самого, ни от мира, который полгода спустя начал исподволь терять блеск, блекнуть и в очередной раз исчез из поля зрения. Год спустя все повторилось, хотя иначе. Родилась Ванья, и теперь не мир открылся мне, поскольку мы закрылись от него в нашей глубокой сосредоточенности на чуде, свершившемся между нами, но открылось что-то во мне. Если влюбленность была дикая и несдержанная, в ней хлестала через край витальность и опьянение, то сейчас все стало приглушенным, бережным, исполненным безраздельного внимания к произошедшему. Продолжалось это недели четыре, от силы пять. Если мне нужно было в

город по делам, я бегом летел по улицам, торопливо заскакивал внутрь магазина, дрожа от нетерпения, переминался с ноги на ногу перед прилавком и с пакетом в руках мчался домой. Я боялся упустить даже минуту! Дни перетекали в ночи, а они в дни, все было нежность, все было мягкость, и стоило Ванье открыть глаза, мы бежали к ней со всех ног. Это же ты! Но и это прошло, мы и к этому привыкли; я начал работать, каждый день сидел писал в новом кабинете на Далагатан, а Линда была с Ваньей дома и приходила в обед, часто встревоженная чем-нибудь, но счастливая; она была ближе к ребенку и его миру, чем я, потому что я писал, и первоначально задуманное эссе медленно, но верно перерастало в роман, точка невозврата была уже видна, и я мог только писать, я переехал в кабинет и писал день и ночь, изредка засыпая на часок. Меня переполняло фантастическое чувство, во мне как будто горел свет – не горячий всепожирающий огонь, но холодное, ясное сияние. Ночью я брал с собой кружку кофе и устраивался покурить на лавочке перед больницей, на всех улицах окрест было тихо, и мне от радости не сиделось на месте. Все было возможно, во всем был смысл. В двух местах в этом романе я превзошел все, что считал возможным, мне не верилось, что это я написал слова, которых никто не заметил, никак не прокомментировал, но они одни искупали предшествующие пять лет безуспешного неправильного писания. Это два лучших периода моей жизни. Вообще всей жизни, я имею в виду. Потом я искал чувство счастья, переполнявшее меня тогда, и тогдашнее чувство непобедимости, но уже не нашел их.

Через несколько недель после завершения романа для меня началась жизнь папы в декрете, и план был, что так продлится аж до следующей весны, чтобы Линда доучилась в Театральном институте. Работа над романом ухудшила наши отношения, я шесть недель ночевал в кабинете, едва видел Линду и пятимесячную дочку, и когда это закончилось, Линда обрадовалась и вздохнула с облегчением; я знал, что в долгу перед ней, что ей не хватало меня – не только моего физического присутствия дома, но и внимания к проблемам, включенности в заботы, разделения их. Все это я запорол. Несколько месяцев я оплакивал утрату того, прежнего состояния холодной ясности, и тоска по нему пересиливала радость от теперешней жизни. И что роман пошел на ура, дела не меняло. Каждую очередную хорошую рецензию я отмечал в записной книжке крестиком и начинал ждать следующую, после каждого разговора с агентом моего издательства о том, что очередное иностранное издательство заинтересовалось романом или заплатило аванс, я ставил в книжке галочку и ждал следующего, и когда потом роман номинировали на премию Северного совета[3], я отнесся к новости безразлично, потому что если я за эти полгода что-нибудь и понял, то лишь одно: суть писательства исключительно в писательстве. Ценно только оно само. Тем не менее я хотел получить как можно больше всего, что к писательству прилагается, поскольку публичное внимание к тебе – наркотик: потребность, которую он удовлетворяет, искусственна, но кто раз попробовал, тому хочется еще. И вот я нарезал бесконечные круги с коляской по Юргордену, а сам ждал, когда уже зазвонит телефон и журналист попросит об интервью, или меня пригласят выступить, или закажут текст для журнала, или агенту понадобится обсудить стоимость иностранных прав, пока неприятное чувство, неизменно остававшееся у меня после всех этих интервью и выступлений, все же не перевесило и я не стал отказывать всем подряд; одновременно интерес ко мне схлынул, и остались простые будни. Как ни силился, я не мог в них встроиться, по-настоящему важным оставалось другое. Ванья сидела, глазея по сторонам, в коляске, которую я катил туда-сюда по городу; Ванья сидела в песочнице на детской площадке в Хюмлегордене и копала совком, пока худые высокие стокгольмские мамочки, стройными рядами окружавшие нас, беспрерывно разговаривали по телефону, а выглядели как будто, блин, у нас тут модный показ; Ванья сидела пристегнутая в своем высоком стульчике дома на кухне и глотала еду, которой я ее кормил. Мне все это казалось скучным до безумия. Я чувствовал себя придурком, разговаривая с ней

[3] Самая престижная в Скандинавии литературная премия.

вслух: поскольку она ничего не отвечала, то диалог состоял из моего идиотского голоса и ее молчания либо агуканья или плача, так что приходилось снова ее запаковывать и тащиться с ней, например, в Музей современного искусства на Шеппсхольмене, где я, по крайней мере, мог совместить пригляд за ней с рассматриванием картин, или в какой-нибудь большой книжный в центре, на худой конец в зоопарк Юргорден или на Брюннсвикен – ближайшую к городу природу, или отправиться в долгий путь к Гейру, у него в то время кабинет был в университете. Технику ухода за ребенком я шаг за шагом освоил в полном объеме, абсолютно любую вещь я мог сделать на пару с Ваньей, нас носило повсюду, но как бы ловко я с ней ни управлялся, сколь ни велика была моя к ней нежность, – скука и апатия все равно пересиливали. Важно было уложить ее спать, чтобы самому тем временем почитать, и дотянуть день, чтобы зачеркнуть его в календаре. В городе не осталось ни одного не известного мне кафе, даже в самых глухих местах, и ни одной скамейки, на которой я бы ни разу не читал книжку, другой рукой качая коляску. Я таскал с собой Достоевского, сперва «Бесов», потом «Братьев Карамазовых». В нем я снова нашел свет. Не тот высокий, ясный и чистый, как у Гёльдерлина, – нет, у Достоевского ни вершин, ни гор, никакой божественной перспективы, все происходит в человеческом измерении и проникнуто неподражаемым достоевским духом бедности, грязи, болезни, скверны, как правило тяготеющим к истерии. Вот там свет и светит. И шевелится божественное. Неужто надо спуститься туда? И стать на колени? Я, как обычно, сначала просто читал, не думал, а вживался, но спустя несколько дней и несколько сот страниц все, что исподволь тщательно простраивалось, постепенно заработало как слаженная система, напряжение скакнуло вверх, текст затянул меня полностью, с головой и потрохами, и только он подхватывал и уносил меня, как Ванья в глубине коляски открывала глаза и с некоторым, как я воспринимал, подозрением вперивалась в меня: ну и куда ты поперся со мной на этот раз?

Оставалось только вытащить ее из коляски, достать ложку, баночку с питанием и слюнявчик, если дело происходило в помещении, или зайти в ближайшее кафе, если мы гуляли по улице, посадить ее в высокий стул и пойти на кассу, попросить, чтобы разогрели ее еду, на что они соглашались обычно со скрипом, потому что в то время город кишел младенцами: беби-бум уже начался, и поскольку среди матерей было много женщин за тридцать, успевших поработать и пожить собственной жизнью, то появились глянцевые журналы для мам; здесь дети шли по разряду аксессуаров, светские звезды одна за другой фотографировались со своими малышами и раздавали интервью о своей семейной жизни. Приватность вышла в общий доступ. Повсеместно писали о схватках, кесаревом сечении, грудном вскармливании, плюс давали советы, как путешествовать с маленькими детьми, как выбирать для них одежду, коляску и прочее, плюс издавали книги, написанные отцами в декрете и недовольными жизнью матерями; последние чувствовали себя обманутыми, поскольку ходить на работу, имея маленького ребенка, утомительно. Дети, прежде считавшиеся обычным делом, о котором и говорить особенно нечего, теперь переместились в центр мироздания и обсуждались с таким жаром, что глаза на лоб лезли: неужели они это серьезно? Посреди этого безумия я и катал коляску со своим ребенком в качестве одного из множества отцов, очевидно ставивших отцовство превыше всего. В любом кафе, где я кормил Ванью, всегда обнаруживался минимум еще один отец с младенцем, обычно он был моего возраста, то есть лет тридцати пяти, почти обязательно бритый наголо, чтобы скрыть первые признаки выпадения волос, ни залысины, ни конские хвосты практически не встречались, и от вида этих отцов мне всегда становилось не по себе, меня коробила феминизированность их и того, чем они занимались, хотя я занимался тем же самым и был феминизирован ровно в той же степени. Легкое презрение, с которым я смотрел на мужчин с детскими колясками, было, мягко говоря, обоюдным, поскольку обычно я одаривал их этим взглядом, толкая перед собой свою коляску. Причем я подозревал, что не один мучаюсь этим чувством, мне случалось видеть его в беспокойных глазах мужчин на детской площадке и в той жадности, с которой они успевали сделать пару жимов на детских

снарядах, пока дети носились вокруг. Провести несколько часов в день на площадке со своим ребенком – это не конец света. Были вещи похуже. Линда успела начать ходить с Ваньей на ритмику для малышей в Стокгольмскую общественную библиотеку и настаивала, чтобы мы продолжали занятия и когда в декрет сел я. Чутье мне подсказывало, что ничего хорошего там меня не ждет, поэтому я наотрез отказался: нет, и все, теперь за Ванью отвечаю я, и о ритмике можно сразу забыть. Но Линда продолжала твердить о ней, и за несколько месяцев моя способность сопротивляться столь расширительному толкованию активного отцовства кардинально снизилась, а Ванья настолько подросла, что ей требовалось разнообразие; и вот однажды я сказал – да, завтра мы пойдем на ритмику в библиотеку. Приходите пораньше, ответила Линда, там много желающих. Пополудни на следующий день я уже вез Ванью вверх по Свеавеген, на Уденгатан я перешел на другую сторону и вошел в двери библиотеки, до которой почему-то раньше не доходил, хотя это одно из самых красивых в городе зданий, его спроектировал Асплунд в двадцатых годах двадцатого века – мой самый любимый период того столетия. Ванья была сытая, довольная, переодетая во все чистое – тщательно и продуманно выбранное для такого случая. Я вкатил коляску в огромный, совершенно круглый главный зал, спросил женщину за стойкой, где тут детское отделение, следуя ее инструкциям, дошел до соседнего крыла, заставленного полками с детскими книгами, в конце которого на двери висело объявление, что в два часа тут начнется музыкальное занятие для детей. Три коляски уже были припаркованы у двери. На стульях рядом сидели их владелицы – три женщины лет тридцати пяти утомленного вида в мешковатых куртках; сопливый молодняк, ползавший вокруг, очевидно, был их детьми.

Я поставил свою коляску рядом с другими, вынул Ванью, пристроился с ней на руках на каком-то выступе, снял с нее куртку и ботинки и осторожно спустил ее на пол в надежде, что она тоже поползает с остальными. В ее планы это не входило: она давно забыла это место, поэтому жалась ко мне и тянула руки. Я снова взял ее на колени. Отсюда она уже с интересом рассматривала других детей.

В коридоре появилась молодая красивая женщина с гитарой. Лет ей было примерно двадцать пять, длинные светлые волосы, пальто по колено, высокие черные сапоги. Она остановилась передо мной.

– Привет, – сказала она. – Вы на занятия? Я вас раньше не видела.

– Да, на занятия.

Я посмотрел на нее снизу вверх. Самая настоящая красавица.

– А вы записывались?

– Нет, – сказал я. – А надо было?

– Да, надо было. Сегодня все места заняты, к сожалению.

Вот она, благая весть.

– Очень жалко, – сказал я и встал.

– Но раз вы не знали, попробую как-нибудь приткнуть вас в группу. В виде исключения. Но только сегодня, дальше будете записываться.

– Большое спасибо, – сказал я.

Она улыбнулась красивой улыбкой. Открыла дверь и зашла в комнату. Я подался вперед и увидел, что она положила гитару в чехле на пол, сняла с себя пальто, шарф и повесила его на спинку стула в глубине комнаты. От нее исходило свежее, легкое, весеннее обаяние.

Я почувствовал, что это чревато последствиями, и подумал, что лучше бы уйти. Но я притащился на занятия не ради себя, а для Ваньи и Линды. Так что я остался. Ванье было восемь месяцев, и ее завораживало любое даже подобие представления. А тут она будет в нем участвовать.

Мало-помалу помещение наводнилось женщинами с колясками и наполнилось болтовней, смехом, кашлем, переодеваниями, переобуваниями, возней с сумками. Мне казалось, все приходят компаниями, по двое или по трое. Одиночек, кроме меня, похоже, не было. Но за

несколько минут до начала пришли порознь еще двое отцов. По тому, как они держались, я понял, что они незнакомы между собой. Один из них, мелкий, но с большой головой, в очках, кивнул мне. У меня руки зачесались дать ему в лоб. Что он имеет в виду? Что мы из одного профсоюза? Наконец, комбинезоны оказались сняты, за ними – шлемы и ботинки, бутылки и погремушки забраны, а дети спущены на пол.

Матери начали заходить в комнату для занятий заранее. Я выжидал до последнего, но без одной минуты два подхватил Ванью на руки и тоже зашел в комнату. На полу лежали подушки, мы должны были рассесться на них, а молодая женщина, которая вела занятие, сидела перед нами на стуле. Она держала в руках гитару и улыбалась нам. На ней был бежевый вроде бы кашемировый пуловер. У нее была красивая грудь, тонкая талия, длинные ноги, одна на другой, обтянутые, как и раньше, черными сапогами. Я сел на подушку. Посадил Ванью на колени. Она во все глаза смотрела на женщину с гитарой, которая начала с приветствия.

– Здравствуйте. Сегодня у нас здесь новые лица. Может быть, вы представитесь?

– Моника, – сказала одна.

– Кристина, – сказала вторая.

– Люл, – сказала третья.

Люл? Что за черт? Нет такого имени! Повисла тишина. Женщина с гитарой посмотрела на меня и ободряюще улыбнулась.

– Карл Уве, – сказал я мрачно.

– Тогда начнем с песни «Привет», – сказала она и сыграла первый аккорд, попутно объясняя, что родитель должен произнести имя своего ребенка, когда она кивнет в его сторону, а потом все хором поют имя этого ребенка. Она снова взяла аккорд, и все запели. В песне предлагалось сказать приятелю «привет» и помахать ему рукой, поэтому родители самых младших детей, которые такого еще не понимали, брали их руку своей и махали ею, я тоже так сделал, но молчать на втором куплете стало уже неприлично, и пришлось петь. Мой низкий голос звучал как партия доходяги в хоре высоких женских голосов. Двенадцать раз пропели мы «привет» приятелю, наконец все дети были поименованы и стало можно двинуться дальше. В следующей песне перечислялись части тела, и, понятно, дети должны были дотрагиваться до них по мере перечисления. Лобик, глазки, ушки, носик, ротик, животик, коленка, ножки. Лобик, глазки, ушки, носик, ротик, животик, коленка, ножки. Затем нам раздали разные гремелки и шумелки, чтобы мы гремели и шумели, пока поем следующую песню. Я не испытывал ни смущения, ни неловкости – только унижение и уничижение. Все шло мило-дружески, я скрючился на подушке и распевал «ля-ля-ля» вместе с детьми и мамашами под руководством, чтобы уж мало не показалось, женщины, с которой мне хотелось переспать. Но сидя в этом кругу, я был полностью обезврежен, обезоружен, лишен достоинства, стал точно импотентом, она от меня ничем не отличалась, разве что красотой, – и такая уравниловка, отнявшая у меня все, включая рост, причем с моего добровольного согласия, приводила в ярость.

– Нам пора потанцевать! – сказала она, отложила гитару и подошла к *CD*-проигрывателю, водруженному на соседний стул.

– Все встают в круг, сначала мы идем в одну сторону, останавливаемся, топаем ногой, – она топнула своей красивой, обтянутой сапогом ногой, – и идем в другую сторону.

Я встал на ноги, поднял Ванью и шагнул в составившийся круг. Нашел глазами двух других пап. Оба были целиком сосредоточены на своих детях.

– Давай, давай, Ванья, – подбодрил я ее шепотом. – Чего только жизнь не подсуропит, как говорит твой дедушка.

Она подняла на меня глаза. До этого момента она не соблазнилась ничем из предложенных занятий. Даже маракас трясти не захотела.

– Начали! – сказала красивая женщина и нажала кнопку на проигрывателе. Из него полилась музыка а-ля народная, и я пошел по комнате вслед за остальными, ступая под музыку.

Ванью я держал под мышки, так что она висела спиной к моей груди и болтала ногами. Потом надо было топнуть ногой, развернуться с нею вместе, а потом идти в обратную сторону. Многим это явно нравилось, я слышал смех и даже визг. Затем нам сказали каждому потанцевать со своим ребенком. Я раскачивался с Ваньей на руках и думал, что так мог бы выглядеть ад: такой мягонький, доброжелательный и, куда ни глянь, везде толпы незнакомых мамаш с младенцами. После танца пришла очередь большого синего паруса: сначала он изображал море, и мы все под песню поднимали-опускали край полотнища, чтобы поднять волну, потом дети проползали под полотнищем, а потом мы резко поднимали парус вверх, всё с песнями.

Наконец красавица простилась с нами до следующего раза. Ни на кого не глядя, я быстро вышел в коридор, продолжая смотреть только на Ванью, запаковал ее под гул изрядно повеселевших голосов вокруг меня, посадил в коляску, защелкнул ремни и повез ее прочь с максимально допустимой, то есть когда она еще не бросается всем в глаза, поспешностью. Вырвавшись на улицу, я больше всего хотел заорать или расколотить что-нибудь. Но удовлетворился тем, что стремительно смылся с места позора.

– Ну что, Ванья, моя Ванья, – приговаривал я, поспешая вниз по Свеавеген. – Тебе понравилось? Вид у тебя был не очень довольный.

– Та-та-та, – сказала Ванья в ответ.

Она не улыбалась, но глаза у нее были веселые.

Она показала пальцем.

– Да, мотоцикл, – кивнул я. – Любишь мотоциклы, да?

Мы поравнялись с магазином «Консум» на углу Тегнергатан, и я зашел туда купить еды на ужин. Клаустрофобия еще не до конца отпустила, но агрессия повыветрилась, и я безо всякого ожесточения толкал коляску вперед по проходу между рядами. Магазин пробудил воспоминания, здесь я закупался, когда три года назад переехал в Стокгольм и несколько недель жил в квартире издательства «Нурстедтс» в двух шагах отсюда. Я весил больше ста килограммов и оказался в почти кататоническом мраке, убегая от прежней жизни. До хорошего настроения мне было как до луны. Но я принял решение начать собирать себя по кускам и каждый вечер отправлялся в парк Лилль-Янсскуген на пробежку. Пробежка – это сильно сказано, на практике я не пробегал и ста метров, как сердце начинало бешено колотиться, легкие разрывались от нехватки воздуха, и приходилось останавливаться. Еще сто метров, и начинали дрожать ноги. Ничего не оставалось, как тащиться назад в нурстедтсовскую прилизанную под отель квартиру и глодать хлебцы с супом. Однажды здесь, в магазине, я встретил женщину, она вдруг возникла рядом со мной, удивительным образом у мясного прилавка, и что-то в ней было такое, физически ощутимое, что в одну секунду во мне вспыхнуло влечение. Она двумя руками держала перед собой магазинную корзинку, у нее были рыжеватые волосы, лицо бледное, в веснушках. Я ощущал ее запах, слабый аромат мыла и пота, сердце мое колотилось, дыхание сперло, глядя прямо перед собой, я замер секунд на пятнадцать, в течение которых она обошла меня, взяла с прилавка салями и удалилась. Я снова увидел ее на кассе, она стояла в очереди в соседнюю, и желание, затухшее было во мне, проснулось опять. Она сложила покупки в пакет, развернулась и вышла. Больше я ее не встречал.

Со своей низкой точки обзора в коляске Ванья увидела пса и показала на него. Я все время пытался встать на ее место и представить себе, что привлечет ее внимание, когда она созерцает мир вокруг себя. Как она воспринимает бесконечный поток людей, лиц, машин, магазинов и вывесок? Одно было ясно: для нее не все одинаково, она выделяет отдельные предметы, потому что она не только непрерывно показывала на мотоциклы, кошек, собак и маленьких детей, но и ранжировала людей вокруг себя – первая Линда, потом я, потом бабушка, а дальше все остальные сообразно тому, сколько они общались с ней в последние дни.

– Ага, собака, – сказал я, беря с полки пакет молока и кладя его на крышку коляски. Потом взял с соседнего прилавка свежую пасту, две упаковки хамона, банку оливок и моца-

реллу, базилик в горшке и несколько штук помидоров. Еду, которую в прежней моей жизни я бы ни за что не купил, потому что не знал о ее существовании. Теперь, в рамках жизни стокгольмского просвещенного среднего класса, не имело смысла тратить силы, кривить губы и эмоционально реагировать на местную любовь ко всей итальянской, испанской, французской еде и дурацкое, а при ближайшем рассмотрении вполне отвратительное пренебрежение к шведской, какой бы глупостью мне это ни казалось. Скучая по свиной отбивной, капусте, лапскаусу, овощному супу, картофельным клецкам, фрикаделькам, паштету из ливера, рыбному пудингу, фориколу, сарделькам, китовому мясу, сладкому фруктовому супу, саговой, манной, рисовой и сметанно-пшеничной каше, я скучал по семидесятым годам не меньше, чем по конкретному вкусу. Но раз еда для меня не важна, так почему бы мне не приготовить то, что любит Линда?

На минуту я задержался у стойки с прессой, раздумывая, не купить ли обе вечерки, как их тут называют, иными словами, две самые массовые газеты. Читать их – все равно что вытряхнуть мешок мусора себе на голову. Иногда я так делаю, когда не важно, чуть больше грязи высыплется на меня или чуть меньше. Но сегодня был не такой день.

Я расплатился и вышел на улицу, в асфальте тускло отражался свет мягкого зимнего неба, машины стояли в пробке по всему перекрестку, как бревна в заторе на сплаве. Я пошел по Тегнергатан, где машин было меньше. В окне букинистической лавки, которую я занес в свой список толковых, стояла книга Малапарте, о которой тепло говорил Гейр, и Галилео Галилей в серии «Атлантиса». Я развернул коляску, ногой толкнул дверь и задом вошел в магазин.

– Можно мне посмотреть две книги из витрины? – спросил я. – Галилео Галилея и Малапарте?

– Простите? – спросил меня хозяин магазина, мужчина лет пятидесяти, в рубашке без пиджака, и посмотрел на меня в квадратные очки, сдвинутые на самый кончик носа.

– В окне, – сказал я. – Две книги. Галилей, Малапарте.

– Небо и война, так? – сказал он и протянул руку, чтобы дать их мне. Ванья заснула. Ритмика так ее вымотала? Я потянул на себя рычажок в изголовье коляски и опустил ее в лежачее положение. Ванья во сне помахала рукой и сжала ее в кулак, она так делала, когда только родилась. Врожденное импульсивное движение, которое она постепенно переросла. Но во сне оно продолжало возвращаться. Я убрал коляску с прохода, чтобы никому не мешать, и рассматривал книги по искусству, пока букинист пробивал чек за две мои книги на своем допотопном кассовом аппарате. Раз Ванья уснула, я мог несколько минут спокойно порыться в книгах, и с первого же захода увидел фотоальбом Пера Манинга. Вот так удача! Я вообще очень люблю его работы, но эту серию, с животными, особенно. Коровы, свиньи, собаки, моржи. Каким-то образом фотографу удалось запечатлеть их души. Никак иначе не объяснить взгляд, которым животные смотрят с его фотографий на нас. Абсолютное присутствие, иногда мучительное, иногда пустое, иногда пронзительное. И при этом что-то загадочное, такое, как в портретах семнадцатого века. Я положил альбом на прилавок.

– Он только появился, – сказал букинист. – Интересная книга. Вы норвежец?

– Да, – кивнул я. – Я еще посмотрю.

Я нашел какое-то издание дневников Делакруа и взял их, плюс альбом Тёрнера, хотя редко чьи картины так неудачно выглядят на репродукциях, как его, и книгу Поула Вада о Хаммерсхёйе, и роскошное издание, посвященное ориентализму в изобразительном искусстве.

Только я отдал книги на кассу, зазвонил мобильный. Номера моего почти никто не знает, поэтому приглушенный звук, тихо сочившийся наружу из недр бокового кармана куртки, не вызвал у меня досады. Наоборот. За вычетом короткого обмена репликами с ведущей на детской ритмике я с момента, когда Линда утром уехала учиться, ни с кем не разговаривал.

– Привет, – сказал Гейр. – Что делаешь?

– Работаю над осознанием себя, – сказал я и отвернулся к стене. – А ты чем занят?

– Этим точно нет. Сижу на работе и наблюдаю, как тут народ выеживается. Так что стряслось?

– Я встретил женщину редкой красоты.

– Да?

– Поболтал с ней.

– Да?

– Она предложила мне зайти в ее комнату.

– Ты не отказался?

– Нет. И она даже спросила, как меня зовут.

– Но?

– Но она ведет музыкальные занятия для малышей. Поэтому мне пришлось петь перед ней детские песенки и хлопать в ладоши, с Ваньей на коленях. Сидя на *подушечке*. Посреди дюжины мамаш с младенцами.

Гейр захохотал в голос.

– Еще мне дали погремушку, чтобы я гремел ей.

– Ха-ха!

– Я ушел оттуда в такой ярости, что не знал уже, что делать, – сказал я. – Зато пригодился мой отрощенный толстый зад. И никому не было дела, что у меня складки жира на пузе.

– Э-эх, – засмеялся Гейр. – А они такие милые и прекрасные. Не пойти ли нам прошвырнуться вечером?

– Это провокация или что?

– Нет, я серьезно. Мне надо поработать часов до семи, а потом можем встретиться в городе.

– Не получится.

– В чем тогда фишка – жить в Стокгольме, – коли мы и встретиться-то толком не можем?

– «Когда», – сказал я. – «Когда», а не «коли».

– Ты помнишь, *когда* ты прилетел в Стокгольм? И *когда* ехал в такси, растолковывал мне по телефону значение слова «подкаблучник», поскольку я отказался идти с тобой в ночной клуб?

– В таких случаях надо говорить не «когда», а «пока», – сказал я. – Пока ты ехал в такси.

– Один черт. Важно слово «подкаблучник». Его ты помнишь?

– К сожалению, да.

– И? Какие ты сделал выводы?

– У меня совсем другое дело. Я не подкаблучник, а каблук. А ты – пулен с задранным носом.

– Ха-ха! А как насчет завтра?

– К нам придут Фредрик и Карин.

– Фредрик? Этот типа режиссеришко?

– Я бы не стал так выражаться. Но да, это он.

– Господь милосердный. А воскресенье? Нет, у вас день отдыха. Понедельник?

– Годится.

– Еще бы, в понедельник-то в городе народу полно.

– Значит, договорились: в понедельник в «Пеликане», – сказал я. – Кстати, купил только что Малапарте.

– А, ты у букиниста? Он хороший.

– И дневники Делакруа купил.

– Они тоже вроде славные. Тумас о них говорил, помню. Еще что нового?

– Звонили из «Афтенпостен». Хотят интервью-портрет.

– И ты не сказал нет?

– Нет.

– Вот и идиот. Тебе пора с этим делом завязывать.

– Я знаю. Но в издательстве сказали, что журналист очень толковый. И я решил дать им последний шанс. Вдруг получится хорошо.

– Не получится, – сказал Гейр.

– Да я и сам знаю. Ну, один хрен. Я уже согласился. А у тебя что?

– Ничего. Попил кофе с булочками и социоантропологами. Потом явился бывший декан с крошками в бороде и ширинкой настежь. Он пришел поболтать, а из всех сотрудников один я его не гоняю. Поэтому он приперся ко мне.

– Это тот крокодил?

– Ага. Теперь он больше всего боится, что у него отнимут кабинет. Это его последний рубеж, ради него он ведет себя как душка и зайчик. Главное, правильно себя настроить. Жесткость – когда можно, мягкость – когда нужно.

– Я попробую завтра к тебе заскочить, – сказал я. – У тебя как со временем?

– У меня, блин, отлично. Только Ванью с собой не тащи.

– Ха-ха! Слушай, я на кассе, мне надо заплатить. До завтра.

– Давай. Линде и Ванье привет.

– А ты Кристине.

– До связи.

– Ага.

Я разъединился и запихал телефон обратно в карман. Ванья по-прежнему спала. Антиквар сидел за прилавком и рассматривал каталог. Поднял на меня глаза, когда я подошел к кассе.

– Все вместе тысяча пятьсот тридцать крон, – сказал он.

Я протянул ему карточку. Чек убрал в задний карман, потому что оправдать такого рода траты я мог единственно тем, что они подпадают под налоговые вычеты; два пакета с книгами я положил в сетку под коляской и выкатил ее на улицу под звук дверного колокольчика прямо в уши.

Времени было уже без двадцати четыре. Я не спал с половины пятого утра, до половины седьмого сидел вычитывал для «Дамма» проблемный перевод, и при всем занудстве работы, состоявшей исключительно в сличении текста с оригиналом предложение за предложением, она давала мне больше и была в тысячи раз интереснее отнявших всю остальную часть утреннего и дневного времени ухода за ребенком и ритмики для малышей, в которых я теперь уже не видел ничего, помимо траты времени. Такая жизнь меня не то чтобы истощала, ничего такого, она не требовала от меня особых усилий, но поскольку в ней не было ни малейшего проблеска вдохновения, я тем не менее от нее сдулся, как если бы меня, например, прокололи. На перекрестке с Дёбельнсгатан я свернул направо, поднялся на горку у церкви Святого Иоанна, красным кирпичом стен и зеленью медной крыши напоминающей сразу и бергенскую церковь Святого Иоанна, и церковь Святой Троицы в Арендале, затем дальше по Мальмшильнадсгатан, вниз по улице Давида Багаре, и вошел во внутренний двор нашего дома. Два факела горели у дверей кафе на другой стороне. Воняло мочой, потому что ночью, возвращаясь со Стуреплан, народ останавливается здесь отлить за решетку, и несло мусором от составленных вдоль стены контейнеров. В углу сидел голубь, обитавший здесь и два года назад, когда мы сюда въехали. Тогда он жил наверху, в дырке в кирпичной кладке. Потом дыру заделали, на все ровные поверхности наверху насажали шипы, и он переместился на землю. Крысы здесь тоже бегали, я иногда ночью видел их, когда выходил покурить: черные спины мелькали в зарослях кустов и вдруг опрометью проскакивали открытое освещенное пространство курсом на безопасные цветники через дорогу. Сейчас во дворе курила, болтая по телефону, парикмахерша. Лет ей было сорок, наверное, и мне показалось, что она выросла в маленьком местечке и считалась

тамошней первой красавицей, во всяком случае, она напоминала тип женщин, которых летом можно увидеть в Арендале на открытых верандах ресторанов, – сорок плюс, крашеных жгучих блондинок или жгучих брюнеток, со слишком загорелой кожей, слишком кокетливым взглядом, слишком громким смехом. У парикмахерши был хриплый голос, растянутый сконский выговор, а одета она в тот день была во все белое. Увидев меня, она кивнула, я кивнул в ответ. Хоть мы за все время едва перекинулись парой слов, я относился к ней тепло; она не походила на остальных людей, встречавшихся мне в Стокгольме, которые или пробивались наверх, или уже пробились, или считали, что пробились. Их перфекционизма не только в одежде и покупках, но и в мыслях и публичной позиции она, мягко говоря, не разделяла. Я остановился у дверей, чтобы вытащить ключи. Из вентиляционного отверстия над окном постирочной в подвале бил запах порошка и выстиранного белья.

Я отпер дверь и вошел в подъезд, соблюдая максимальную осторожность. Ванья так хорошо знала все эти звуки и их очередность, что почти гарантированно просыпалась. Так она сделала и сейчас. На этот раз с криком. Не отвлекаясь на ее плач, я открыл дверь лифта, нажал на кнопку и смотрел на себя в зеркале, пока мы ехали наши два этажа. Линда, видимо услышавшая вопли, ждала нас в дверях.

– Привет, – сказала она. – Как вы сегодня поживали? Ты только проснулась, радость моя? Иди ко мне, давай посмотрим, что у нас там…

Она расстегнула ремень и взяла Ванью на руки.

– Поживали мы хорошо, – сказал я, завозя пустую коляску в квартиру; Линда уже успела расстегнуть вязаную кофту и двинулась в сторону гостиной, чтобы дать Ванье грудь. – Но на ритмику я больше не ходок.

– Все было так плохо? – сказала она, с улыбкой взглянула на меня и опустила глаза на Ванью, одновременно прижимая ее к голой груди.

– Плохо? Ничего хуже я в жизни не видел! Я ушел оттуда в бешенстве.

– Понимаю, – сказала она, сразу потеряв интерес.

Насколько иначе она нянчит Ванью. С полной самоотдачей. И совершенно естественно. Я убрал продукты в холодильник, горшочек с базиликом поставил в миску на подоконнике и полил, вытащил из сетки под коляской книги и расставил их на полке, сел перед компом и открыл почту. Я не заходил в нее с утра. Одно письмо оказалось от Карла-Юхана Вальгрена, поздравление с выдвижением на премию; он писал, что книгу, к сожалению, пока не успел прочитать, но пусть я звоню, как только мне захочется поболтать с ним за пивом. Карла-Юхана я по-настоящему любил, его экстравагантность, которую некоторые находят отталкивающей, снобской и глупой, я высоко ценил, особенно после двух лет в Швеции. Но пить с ним пиво – не мой жанр. Я буду сидеть и молчать, я знаю, я уже два раза пробовал. Одно письмо от Марты Норхейм по поводу интервью в связи с присуждением мне премии радиостанции *P2* за лучший роман. И одно от дяди Гуннара, он благодарил за книгу, писал, что собирается с силами прочесть ее, желал мне удачи в скандинавском литературном чемпионате и закончил постскриптумом – как ему жаль, что Ингве и Кари Анна собрались разводиться. Я закрыл почту, никому не ответив.

– Есть что-нибудь интересное? – спросила Линда.

– Ну так. Карл-Юхан поздравил. Норвежское телевидение – *NRK* – просит об интервью через две недели. И еще Гуннар прислал письмо, представь себе. Просто поблагодарил за книгу, но это уже немало, вспомни, как он бесился по поводу «Вдали от мира»[4].

– Конечно, – сказала Линда. – Так ты думаешь позвонить Карлу-Юхану и где-нибудь с ним посидеть?

– У тебя сегодня хорошее настроение? – спросил я.

[4] *Ute av verden* (1998) – роман К. У. Кнаусгора.

Она насупилась:

– Я всего лишь стараюсь не быть занудой.

– Я вижу. Прости. Окей? Я не со зла.

– Ладно.

Я прошел мимо нее и взял с дивана второй том «Братьев Карамазовых».

– Я пошел, – сказал я, – пока.

– Пока, – ответила она.

Теперь в моем распоряжении имелся час времени. Это было единственное условие, которое я выставил, берясь отвечать за Ванью в дневное время, что мне нужен будет час в одиночестве во второй половине дня, и хотя Линда считала это несправедливым, поскольку у нее сроду никакого такого часа не бывало, но согласилась. Причину отсутствия у нее такого часа я видел в том, что она ни о чем таком не подумала. А причину этого, в свою очередь, видел в том, что ей хотелось быть не одной, а с нами. Но мне не хотелось. Так что каждый день я целый час сидел в каком-нибудь кафе, читал и курил. Я никогда не ходил в одно заведение больше четырех-пяти раз подряд, иначе ко мне начинали относиться как к завсегдатаю, то есть подходили здороваться, старались блеснуть знанием моих предпочтений в еде, охотно и дружелюбно комментировали свежие новости. Но для меня весь смысл жизни в большом городе – в том, что я могу находиться в полном одиночестве, окруженный со всех сторон людьми. Но – людьми с не знакомыми мне лицами! Бесконечный поток новых лиц, в нем можно купаться, он никогда не иссякает, и есть для меня главная радость жизни в большом городе. Метро с его мельтешением всевозможных типажей и персонажей. Рынки. Пешеходные улицы. Кафе. Большие торговые центры. Дистанция и еще раз дистанция, мне всегда ее не хватало. Так что, когда бариста, завидев меня, приветливо здоровается и не только начинает готовить кофе раньше, чем я успеваю заказать, но и предлагает бесплатный круассан, я понимаю, что кафе пора менять. Найти замену не было проблемой, мы жили в самом центре, в десятиминутном радиусе от нас располагались сотни кафе.

В этот день я двинулся вниз по Рейерингсгатан в сторону центра. Улица была забита народом. Шагая, я думал о красивой женщине, ведущей детской ритмики. О чем именно думал? Мне хотелось переспать с ней, но я не надеялся, что такая возможность представится, а если бы и подвернулась, я бы ей не воспользовался. Тогда почему меня задело, что я вел себя у нее на глазах как женщина?

Тут можно было бы многое сказать о восприятии себя, но формируется оно не в холодных высоких галереях разума. Мысли могли бы прояснить дело, но сил справиться с проблемой у мыслей нет. Восприятие себя учитывает не только каким человек был, но и каким он хотел бы быть, мог бы стать или бывал когда-то, потому что в том, как я себя вижу, нет различия между реальностью и гипотетической возможностью. В образ себя встроены все возрасты, все чувства, все желания. Гуляя по городу с коляской, тратя день за днем на уход за собственным ребенком, я не то чтобы добавлял что-то своей жизни, обогащал ее, наоборот, от нее что-то отнималось – та часть меня, которая связана с мужской самостью. Я дошел до этого не умом, потому что умом я понимал, что намерение мое правильное, я делаю это, чтобы мы с Линдой были равноправны в отношении ребенка, но эмоционально меня переполняло отчаяние, что я таким образом заталкиваю себя в слишком мелкую и тесную форму и мне уже не шелохнуться. Это вопрос параметров, из которых исходить. Если мы исходим из параметров равенства и справедливости, тогда нечего возразить против того, что мужчины повсеместно с головой погружаются в уютный домашний мирок. Как и против аплодисментов на сей счет, поскольку по параметру равенства и справедливости эти изменения безусловно суть прогресс и улучшения. Но имеются и другие параметры. Один из них – счастье, другой – полнота жизни. Возможно, женщины, строящие карьеру почти до сорока, в последний момент рожающие ребенка, который через несколько месяцев перепоручается мужу, а далее определяется в

детский сад, чтобы оба родителя могли развивать свою карьеру дальше, в целом счастливее женщин предыдущих поколений. Возможно, мужчины, сидя полгода дома в декрете и ухаживая за своим грудничком, тем самым способствуют полноте своей жизни. Также возможно, что женщин действительно возбуждают эти их мужчины с тонкими руками, широкими бедрами, бритыми головами и черными очками дизайнерских марок, мужчины, которые равно увлеченно спорят как о сравнительных достоинствах слингов и кенгуру, так и о предпочтительности домашней еды для малыша или покупной экологичной. Возможно, женщины хотят их всем телом и всей душой. Но даже если и нет, не это главное, потому что равенство и справедливость – козырный параметр, он бьет все остальное, из чего состоит жизнь и отношения. Это вопрос выбора, и выбор сделан. В том числе мой. Желай я устроить все иначе, я должен был сказать Линде до того, как она забеременела, что, знаешь, я хочу ребенка, но не планирую садиться дома и нянькать его. Тебя устраивает? Что заниматься им придется тебе? Она могла бы ответить мне «нет, конечно, не устроит» или «да, конечно, устроит», и мы бы планировали наше будущее исходя из этого. Но я не поставил вопроса так, не блеснул дальновидностью и поэтому теперь должен был играть по действующим правилам. Для людей нашего круга и культурного кода это означало, что мы на пару исполняем роль, ранее именовавшуюся женской. Я оказался привязан к ней, как Одиссей к мачте: я мог, если хотел, освободиться, но лишь ценой потери всего. В результате я катал по улицам Стокгольма коляску, как заправский современный феминист, а в душе у меня бесновался и ярился мужик девятнадцатого века. Впечатление, производимое мной, менялось по мановению волшебной палочки, стоило мне взяться за ручку коляски. Я всегда засматривался на встречных женщин, как все мужчины, – загадочный, по сути, ритуал, поскольку привести он может максимум к ответному взгляду, – а если женщина была по-настоящему красива, я мог и обернуться ей вслед, украдкой, но тем не менее – для чего? Какую встроенную функцию имеют все эти глаза, рты, груди, талии, ноги и задницы? Почему на них невозможно не пялиться? Если я через десять секунд, максимум минут, навсегда о них забуду? Иногда женщина встречала мой взгляд ответным взглядом, и у меня все внутренности затягивало в воронку, стоило ему продлиться лишнюю микросекунду, потому что это был взгляд из толпы, из людского месива, я ничего о женщине не знал – откуда она, как живет – ничего, тем не менее мы увидели друг друга, вот в чем фокус, но тут же все и кончалось, она шла дальше и навсегда исчезала из моей памяти. Но когда я вез коляску, ни одна женщина в мою сторону не глядела, как будто меня и не было. Ты же сам недвусмысленно давал понять, что не свободен, в этом все и дело, скажете вы; но когда я шел за руку с Линдой, разве я не это же сообщал миру? Однако это нисколько не мешало им смотреть в мою сторону. Возможно, они просто считали нужным поставить меня на место и обращались со мной, как я того заслуживал: ишь, пялишься на девушек на улице, а у тебя дома своя женщина, она родила тебе ребенка!

Да, это было нехорошо.

Нет, это было не то.

Тонья рассказывала однажды, как к ней в каком-то заведении пристал парень, время было позднее, он подошел к их столику, пьяный, но не опасный, как им показалось, и стал рассказывать, что возвращается из роддома, что его девушка родила сегодня их первенца, и вот он теперь празднует. Слово за слово, он стал к Тонье клеиться, все более назойливо, и в конце концов позвал ее к себе домой, чтобы… Тонья была потрясена до глубины души, говорила с отвращением, но и с восхищением тоже, показалось мне, потому что ну это же невозможно, что он себе думает?

Я не знаю худшей измены. Но не тем ли занимался и я, напрашиваясь на взгляды идущих мимо женщин?

Мысли неумолимо возвращались к Линде, как она там дома с Ваньей; их глаза, Ваньины любопытные, или радостные, или сонные, Линдины красивые. Никого я так сильно не хотел,

как ее, и вот добился не только ее, но и ребенка от нее. Почему я не могу мирно радоваться этому? Почему не могу отложить на год писательство и побыть отцом Ваньи, пока Линда доучивается? Я люблю их, они любят меня. Зачем все остальное грызет меня и рвет изнутри на части?

Я должен быть с собой построже. Забыть обо всем и днем целиком посвящать себя Ванье. Давать Линде все, что ей нужно. Быть хорошим человеком. Блин, неужели мне не по силам быть хорошим человеком?

Я дошел до нового магазина «Сони» и раздумывал, не зайти ли в «Академкнигу» на углу, купить чего-нибудь и сесть там же в кафе почитать, но тут на противоположной стороне я увидел Ларса Нурена. С пакетом из «Найка» он шел мне навстречу. Первый раз я увидел его через несколько недель после переезда в эту квартиру, дело было в парке Хюмлегорден, на деревьях висел туман, а навстречу нам шел небольшого роста, похожий на хоббита человек во всем черном. Я поймал его взгляд, черный как кромешная тьма, и у меня мурашки по спине побежали. Кто это? Тролль?

– Видела? – спросил я Линду.

– Это Ларс Нурен, – ответила она.

– *Это* – Ларс Нурен?

Мама Линды, она актриса, давным-давно играла у него в спектакле в «Драматене», и ближайшая подруга Линды, Хелена, тоже актриса, тоже играла у него. Линда рассказывала, как Нурен вел беседы с Хеленой, совершенно на равных, а потом вставил ее ответ в реплику ее героини. Линда настаивала, чтобы я прочитал «Хаос – сосед Бога» и «Ночь рождает день», говорила, что они потрясающие, но я так и не сподобился, мой список для чтения бесконечен, как високосный год; так что пока я обхожусь созерцанием Нурена, идущего по улице, у нас тут это обычное дело, и когда мы приходим в наше любимое кафе «Сатурнус», то частенько видим, как он дает там интервью или просто сидит с кем-то разговаривает. Я встречал в округе и других писателей. В соседней пекарне однажды заметил Кристиана Петри и чуть было не поздоровался, настолько у меня не было привычки видеть воочию людей, известных мне в лицо; и там же я видел Петера Энглунда, а Ларс Якобсон, автор потрясающего романа «Замок красной женщины», как-то зашел в кафе «Делло Спорт», когда там сидели мы, и даже самого Стига Ларссона – которым я был совершенно одержим лет в двадцать и чья книга стихов «Ночи мои»[5] попала мне прямо под дых – я однажды встретил за столиком уличной веранды ресторана «Стюрехоф», Ларссон читал книгу, и сердце мое заколотилось с такой силой, точно я увидел мертвеца. Другой раз я встретил его в «Пеликане», и в моей компании был кто-то, знакомый с его компанией, так что я пожал ему руку, вялую, как жухлая травинка, и он улыбнулся мне рассеянной улыбкой. Ариса Фиоретоса я встретил как-то в «Форуме», и Катарину Фростенсон тогда же, а с Анн Йедерлунд пересекся в гостях на Сёдере. Книги всех этих писателей я читал, живя в Бергене, тогда это были иностранные имена зарубежных писателей, но когда теперь я встречал их живьем, то их сопровождала былая аура и давала сильное чувство *со*временничества: они пишут здесь и сейчас и наполняют нашу эпоху теми интонациями, которые помогут новым поколениям понять нас. Стокгольм начала тысячелетия, вот что я чувствовал, глядя на них, и это было доброе и сильное чувство. Что звездный час многих из них пришелся на восьмидесятые-девяностые годы прошлого века, а теперь они отодвинуты в тень, меня нисколько не заботило, я искал не действительности, но магии. Из молодых писателей, прочитанных мной, мне понравился только Йеркер Вирдборг, в его романе «Черный краб» было нечто, поднимавшее его выше тумана из морали и политики, в котором заблудились остальные. Не то чтобы роман был потрясающий, но в нем есть поиск иного, в чем и состоит единственная обязанность литературы, все прочее остается на усмотрение авторов, только не это, и, когда они пренебрегают такой обязанностью, ничего, кроме презрения, им не полагается.

[5] Этот сборник (оригинальное название *Natta de mina*) вышел в 1997 году.

Как же я ненавидел их журналы! Их статьи. Гассилевски, Рааттамаа, Халльберг. Вот ведь ужасные писатели.

Нет, никакой «Академкниги».

Я остановился у перехода. На другой стороне, в пассаже, ведущем к пафосному универмагу «НК» с вековой историей, имелось маленькое кафе, я решил пойти туда. Хоть я и бывал там часто, но его высокий трафик и общая безликость обстановки позволяли в нем раствориться.

Свободным оказался столик у загородки перед лестницей вниз, в строительный магазин. Я повесил куртку на спинку стула, положил книгу на стол обложкой вниз и корешком в сторону, чтобы никто не подсмотрел, что я читаю, и встал в очередь в кассу. Работников за прилавком было трое, две женщины и мужчина, похожие, как родные брат и сестры. Старшая женщина – она в тот момент встала перед шипящей кофемашиной – внешностью и общим обликом напоминала журнальную картинку, и эта ее глянцевость почти полностью глушила желание, проклюнувшееся было во мне при виде ее пластичных движений за прилавком, как если бы мир, где обретался я, не поддавался соизмерению с ее миром, и так оно, видимо, и было. Никаких точек соприкосновения с ней у нас не было, за исключением взгляда.

Вот ведь черт. Снова-здорово.

Нет, я же собирался с этим завязать!

Я выудил из кармана мятую сотню и расправил ее в руке. Оглядел прочих гостей заведения. Почти все сидели в одиночку, сложив пакеты с покупками горой на втором стуле. Чистые, отполированные сапоги и туфли, костюмы с иголочки, пальто мужские и женские, там и тут меховой воротник, там и тут золотая цепочка, старческая кожа, старческие подведенные глаза в старческих, замазанных тональником глазницах. Кофе выпит, венская слойка с кремом съедена. Многое бы я отдал, чтобы узнать, о чем они думают, сидя тут. Каким видится им мир. А если они воспринимают его совсем не так, как я? И радуются удобству темных кожаных диванов, черной глади кофе и его горькому вкусу, не говоря уж о желтом глазке ванильного крема сверху вспученных пластин масляного слоеного теста? А вдруг у них в душе звучит осанна полноте мира? И они того гляди расплачутся от благодарности, что день подарил им так много? Взять хоть их магазинные пакеты, сколь они экстравагантны и затейливы, некоторые даже с продернутыми веревочками вместо обычных приклеенных бумажных ручек, как у пакетов из простых супермаркетов. А логотипы торговых марок, над которыми кто-то трудился дни и недели, вкладывал в разработку их все свои знания и опыт, получал замечания и предложения на встречах с другими отделами, переделывал, быть может, показывал друзьям и домашним, советовался, не спал ночами, потому что, конечно, эскиз кому-то не нравился, несмотря на всю креативность и изобретательность автора, но наконец логотип утвердили, запустили в производство, и теперь он красуется на пакете на коленях вон, например, той женщины лет пятидесяти с жесткими, крашенными чуть ли не золотом волосами.

Настолько экзальтированной она, пожалуй, не выглядела. Скорее натура, склонная к созерцательности. В глубоком внутреннем мире с собой по итогам долгой и счастливой жизни? Где идеальный контраст между белым, твердым, холодным фарфором кофейной чашки и ее черным, текучим, горячим содержимым был лишь временным конечным пунктом пути, проложенного среди предметов и явлений мира? Потому что она видела же когда-нибудь наперстянку, цветущую на осыпи? И пса, задравшего лапу на фонарный столб в парке одним из тех туманных ноябрьских вечеров, что так способствуют мистической красоте города? Когда воздух заполнен, ах-ах, мельчайшими каплями дождя и они не только пленкой облепляют кожу и шерсть, металл и древесину, но отражают свет, отчего серая субстанция вокруг блестит и переливается? Разве не довелось ей увидеть, как некто выбивает подвальное окно в дальнем углу заднего двора, потом открывает щеколду и заползает внутрь, чтобы своровать что там

найдется? Пути человеческие воистину странны и причудливы. Наверняка у нее есть в хозяйстве небольшой металлический штатив под солонку с перечницей, обе из рифленого стекла, но с крышками из того же металла, что и штатив, и с мелкими отверстиями, чтобы, соответственно, соль и перец могли сыпаться? И что только она из них не посыпала! Свиные отбивные, бараньи ноги, золотистые прекрасные омлеты с зелеными прожилками шнитт-лука, гороховый суп и стейки. По горло сытая этими впечатлениями – а каждое из них своим вкусом, запахом, цветом, формой не могло не запасть в душу навечно, – она, и в этом ничего удивительного, ищет за столиком кафе покой и тишину и, судя по ее виду, не намеревается принять внутрь более ничего из даров мира сего.

Мужчина передо мной наконец-то получил, что явно было не просто, свои три латте, и девушка-бариста с черными, по плечи, волосами, мягкими губами и черными глазами, мгновенно оживлявшимися, стоило ей заметить знакомого, но сейчас равнодушными, посмотрела на меня.

– Один черный кофе? – сказала она прежде, чем я успел открыть рот.

Я кивнул – и вздохнул, чуть она отвернулась приготовить мне кофе. Вот и она тоже заприметила печального высокого мужчину с пятнами детского питания на свитере и хронически не мытыми теперь волосами.

Несколько секунд, пока она доставала чашку и наливала в нее кофе, я рассматривал девушку. На ней тоже были черные сапоги до колена. Последний писк моды в этом сезоне, и да продлится она вечно.

– Готово, – сказала девушка.

Я протянул ей сотенную бумажку, она взяла ее безупречно наманикюренными пальцами, причем лак был прозрачный, успел заметить я, отсчитала в кассе сдачу, дала мне ее в руки, и засим обращенная ко мне улыбка переадресовалась трем подружкам в очереди за мной.

Роман Достоевского, лежавший на столике, не особо меня манил. Чем меньше я читал, тем меньше этого хотелось, – известный заколдованный круг. Плюс к этому мне не нравилось находиться в мире Достоевского. Сколь бы меня ни потрясали его книги, как бы я ни восхищался его мастерством, я не мог избавиться от неприятного чувства. Нет, не неприятного. Правильное слово – некомфортное. Мне было некомфортно в мире Достоевского. Тем не менее я открыл книгу и сел на диван читать, предварительно быстро оглядев зал и убедившись, что никто этого не видит.

* * *

До Достоевского идеал, в том числе идеал христианский, виделся мне как чистота и крепость, нечто горнее и, как небеса, недостижимое почти ни для кого. Плоть немощна, разум слаб, но идеал непоколебим. К нему следует стремиться, его следует защищать, бороться за него. В книгах Достоевского всё суть человеческое, точнее говоря, человеческое и есть всё, включая идеалы, вывернутые наизнанку: теперь они достигаются тем, что человек сдается, ослабляет хватку, одолевает все безволием и бессилием более, чем усилием воли. Униженность и самоуничижение, вот идеалы Достоевского в самых важных его романах, но эти идеалы никогда не реализуются в рамках романного действия вследствие униженности и самоуничиженности самого автора, что и делает его грандиозным писателем. В отличие от большинства великих писателей Достоевский не выпирает из своих романов. Никаких фирменных виньеток, которые отличали бы именно его стиль, никакой явно считываемой морали: Достоевский тратит всю свою смекалку и старание на то, чтобы люди у него были индивидуальностями, но поскольку многое в человеке противится уничижению и отрицанию, то протест и активное действие всегда пересиливают пассивную милость и прощение, которыми они разбавлены. Отталкиваясь от этого, можно рассмотреть, например, понятие нигилизма у Достоевского: этот нигилизм нико-

гда не кажется реальным, всегда он какая-то идея фикс, часть идейно-исторического небосвода того времени; и происходит так именно потому, что человеческое, во всех своих формах и проявлениях, от самых гротескных, чуть ли не животных, до аристократических, изысканных, до самого идеала Иисуса, чумазого, бедного, презревшего красоты мира, везде берет свое и попросту наполняет все, включая и дискуссию о нигилизме, смыслом до краев. У Толстого, который тоже писал и жил в эпоху глобальных перемен, каким оказался конец девятнадцатого века, и прошел через все его религиозные и моральные терзания, все выглядит иначе. Здесь вам длинные описания природы и интерьеров, обычаев и нарядов, из ствола ружья после выстрела идет дымок, выстрел возвращается слабым эхом, раненое животное подпрыгивает, прежде чем рухнуть замертво, и от крови, вытекающей на землю, идет пар. Охоте посвящены подробнейшие описания, которые были и останутся только достоверным документированием объективно существующего феномена, встроенным в насыщенное событиями повествование. Этой имманентной значимости событий и вещей у Достоевского нет, за ними всегда что-то скрывается, какая-то душевная драма, и это значит, что всегда есть аспект человеческого, который ему не удается ухватить и охватить, а именно: связь нас с тем, что вокруг нас. Много разных ветров веет в человеке, в нем помимо глубин души есть и другие формирования. Те, кто писал книги Ветхого Завета, знали это лучше многих. Несравненное в своем богатстве изображение всех проявлений человеческого демонстрирует все мыслимые формы жизни, за исключением одной и в конечном счете решающей для нас, а именно – внутренней. Разделение человеческого на сознание и подсознание, рациональное и иррациональное, где одно всегда объясняет или углубляет смысл другого, понимание Бога как чего-то, куда ты погружаешь свою душу, и борение прекращается, наступает покой и благодать; это же наше сегодняшнее восприятие, оно неразрывно связано с нами и нашим временем, небезосновательно позволяющим вещам ускользать от нас посредством сведения воедино самих вещей и наших знаний о них и нашего восприятия их, при том что мы одновременно перевернули отношения между миром и человеком: там, где раньше человек проходил сквозь мир, теперь мир проходит сквозь человека. А когда сдвигается смысл, то следом сдвигается и бессмысленность. Теперь уже не божьим попущением человек оказывается разверст ночи, как было в девятнадцатом веке, когда главенствовать бралась остаточная человечность, – что мы видим у Достоевского, Мунка и Фрейда, – и человек, то ли по необходимости, то ли по прихоти, становился сам себе небесами. Отсюда достаточно было сделать лишь один шаг назад, чтобы смысл исчез полностью. И человек обнаружил, что над человеческим есть небеса и что они не только пусты, черны и холодны, но еще и бесконечны. Чего стоит человеческое в такой вселенной? Где человек всего лишь тварь среди прочих тварей, жизнь среди жизней, жительствующая не менее охотно в виде морских водорослей, грибов на лесной опушке, икры в рыбьем брюхе, крысенышей в гнезде или грозди мидий на морской скале? Почему мы должны делать то, но ни в коем случае не это, если все равно в жизни нет другого смысла и маршрута, кроме как слепиться вместе, пожить и потом умереть? Кого интересует ценность чьей-то жизни, когда она исчезла навсегда, превратилась в горсть жирной земли и несколько пожелтевших хрупких костей? Думаете, череп не ухмыляется насмешливо в могиле? Что меняет в этой перспективе плюс-минус несколько покойников? Ах, есть ведь и другая перспектива, иной взгляд на тот же самый мир, разве нельзя смотреть на него как на чудо из прохладных рек и широко раскинувшихся лесов, спиралевидного домика улитки и вымоин в горах в человеческий рост, кровеносных сосудов и извилин в мозгу, пустынных планет и расширяющихся галактик? Да, можно, потому что смысл – не такая штука, которую мы получаем, но что мы сами привносим. Смерть делает жизнь бессмысленной, потому что мы стараемся-стараемся, а с ней все прекращается, и она делает жизнь осмысленной, потому что близость смерти делает ту малость жизни, которая нам достается, незаменимой, драгоценной в каждом миге. Но в мое время смерти не стало, ее больше нет нигде, она осталась только в постоянных рубриках газет, в теленовостях и фильмах, где означает не конец

течения жизни, ее обрыв, а, наоборот, своим ежедневным тиражированием как бы утверждает это дальнейшее течение, непрерывность, и в результате странным образом дает нам чувство уверенности и точку опоры. Авиакатастрофы стали ритуалом, они происходят с определенной периодичностью, предполагают всегда одну и ту же реакцию и никогда не затрагивают нас лично. Безопасно, но в то же время цепляет и интенсивно щекочет нервы: какой ужас, страшно подумать, последние секунды, бедные люди… Почти все, что мы видим и делаем, несет заряд такой интенсивности, она детонирует в нас, хотя мы лично в событиях участия не принимаем. Получается, мы живем чужой жизнью? Да. Все, что случилось не с нами и чего мы не пережили, тем не менее становится нашим и нами переживается, потому что мы это видели, в нем участвовали, хотя физически там не были. И такое происходит не разово, но каждый день… И так живу не только я и мои знакомые, но все, целые большие культуры, да почти все, кто существует, все гребаное человечество. Оно все изучило и все присвоило себе – так море поступает с дождем и снегом, не осталось ни вещи, ни места, которые мы не взяли бы в обиход и тем самым не зарядили бы человеческим, пропустив его через наше сознание. Для божественного человеческое всегда было мелким и малозначимым, и, видимо благодаря исключительной важности самой этой перспективы – сравнить которую можно только с осмыслением того, что познание всегда предполагает падение, – представление о божественном вообще возникло, а теперь сошло на нет. Потому что кто сейчас убивается из-за бессмысленности жизни? Тинейджеры. Они единственные, кого занимают экзистенциальные вопросы, из-за этого овеянные дополнительной аурой детскости и незрелости, что делает интерес к этим вопросам вдвойне невозможным для взрослых людей, имеющих понятие о приличиях. Удивляться тут нечему, потому что никогда жизнь не ощущается более остро и обжигающе, чем в юности, когда человек как бы в первый раз встречается с миром и каждое чувство внове. И вот он оказывается на слишком тесном для его великих идей поприще и ищет для них хоть какой-то выход, потому что напор изнутри все нарастает. И к кому они рано или поздно приходят, как не к дядюшке Достоевскому? Достоевский стал подростковым писателем, нигилизм – подростковой темой. Как так получилось, трудно сказать, но факт налицо: вся эта проблематика поражена в правах, одновременно энергия критической мысли перенацелилась влево, где растворилась в установке на равенство и справедливость, установке, что узаконивает и определяет развитие этого общества и нашей жизни в нем, теперь идущей не над бездной. Разница между нигилизмом девятнадцатого века и нашим – это разница между пустотой и равенством. В 1949 году немец Эрнст Юнгер писал о мировом государстве будущего. Сегодня, когда либеральная демократия скоро останется единственной моделью общественного устройства, кажется, что он был прав. Все мы демократы, все мы либералы, и различия между государствами, культурами и людьми сглаживаются повсеместно. Но чем по существу является эта тенденция, как не нигилизмом? «Нигилистический мир по своей сути – это мир редуцированный и продолжающий себя редуцировать, как и положено движению к нулевой точке»[6], – пишет Юнгер. Пример такой редукции – это и желание воспринимать Бога как «благо», и стремление найти общий знаменатель для всех сложных процессов, происходящих в мире, и тяга к специализации, еще одной форме редукции, и воля все пересчитать в цифрах, красоту равно леса, равно искусства, равно тела. Потому что разве не являются деньги величиной, которая уравнивает наиболее разномастные вещи так, чтобы их можно было продать? Или, как формулировал Юнгер: «Постепенно все будет приведено к общему знаменателю, в том числе и такие далекие от причинных связей отрасли, как мечты». В нашем столетии уже и мечты у нас похожие, их мы тоже продаем. Сказать «равно-ценность» – просто способ иначе обозначить равно-душие.

Вот это и есть наша ночь.

[6] Юнгер Эрнст. «Через линию». Перевод Гульнары Хайдаровой. http://politconcept.sfedu.ru/2009.2/13.pdf

Я заметил краем глаза, что людей в кафе стало меньше, а улицы за окном почернели, но только отложив книгу, чтобы сходить за добавкой кофе, понял, что прошло уже очень много времени.

Без десяти шесть.

Черт!

Я обещал вернуться домой к пяти. К тому же была пятница, а в пятницу мы старались сделать ужин и вечер особенными. По крайней мере, имели такую идею.

Вот блин.

Я надел куртку, сунул в карман книгу и заторопился к выходу.

– До свидания! – сказала официантка.

– До свидания, – ответил я, не оборачиваясь.

Мне надо было еще зайти в магазин. Я начал с винного напротив, взял не глядя, убедившись только в наличии бычьей головы на этикетке, бутылку красного с полки дорогих вин, прошел дальше по пассажу и зашел в торговый центр, огромный, роскошный, я всегда чувствовал себя здесь жалким бомжом; спустился вниз в супермаркет с самым эксклюзивным ассортиментом продуктов во всем Стокгольме, мы здесь регулярно оставляли большую часть наших денег не потому, что мы такие любители понтов, а по лени – нам всегда в лом было тащиться на метро в дешевый магазин, в тот момент он был на Биргер-Ярлсгатан, и потому еще, что я совершенно индифферентен к ценности денег, в том смысле, что я без особых колебаний сорю ими, когда они есть, и столь же мало страдаю от их отсутствия. Конечно, это чистая дурость, и она без надобности усложняла нам жизнь. Мы могли бы с легкостью иметь пусть небольшой, но вполне функциональный бюджет, вместо этого я швырял деньги направо-налево, получив их, а потом мы три года тянули на прожиточном минимуме. Но кто в состоянии рассуждать функционально? Во всяком случае, не я. Короче, я двинулся к мясному прилавку, где красовались фантастические, превосходно выдержанные и, соответственно, стоящие бешеных денег антрекоты, произведенные в хозяйстве на Готланде, и даже я понимал, что и на вкус они будут изумительные, но здесь же стояли пластиковые коробки с домашними сосисками, которые я взял, затем прихватил пакет картошки, несколько помидоров, брокколи и шампиньоны. У них продавалась свежая малина, я взял лоток, а в морозильнике нашел ванильное мороженое небольшой фирмы, она только раскручивалась, а к нему, раз такое дело, – подходящую французскую выпечку, выставленную в другом конце магазина, где, к счастью, была и касса.

Ой-ой-ой, еще пятнадцать минут прошло.

Не в том только неприятность, что я задержался на полтора часа, которые она меня ждала, но и что вечер почти прошел, потому что мы рано укладывались. Мне-то все равно, я с удовольствием сжую бутерброды перед телевизором и в полвосьмого лягу спать, делов-то, но ее реакция меня тревожила.

К тому же я только что ездил в трехдневное мини-турне и собирался в следующие выходные на выступления в Осло, так что мне было бы разумно посидеть на коротком поводке.

Я сложил покупки на металлический поддон, который медленно подъехал к кассирше. Каждый товар она поднимала, крутила, чтобы сканер считал код, и после характерного пиканья складывала покупку на черную небольшую ленту, все это медленными сонными движениями, как в полудреме. Резкий верхний свет не оставлял невидимой ни одну пору на коже. Уголки ее рта были опущены не в силу возраста, но из-за очень толстых, мясистых щек. У нее вся голова была какая-то мясистая. То, что она потратила много времени на прическу, не меняло общего впечатления, – это как сделать укладку зеленому хвостику моркови.

– Пятьсот двадцать крон, – сказала она, видимо разглядывая свои ногти, потому что на секунду соединила пальцы перед собой.

Я провел картой и набрал ПИН-код. Но пока я стоял и ждал, чтобы оплата прошла, я вспомнил, что забыл купить пакет. В таких случаях я обязательно плачу за него, чтобы не

давать повода думать, будто я нарочно «забыл» про пакет в надежде, что мне позволят взять его бесплатно, как делают многие. Но сегодня у меня не было мелочи, а платить такие суммы картой – идиотизм. С другой стороны, какая разница, что обо мне подумает кассирша. Такая жирная.

– Я забыл купить пакет, – сказал я.

– Две кроны, – сказала она.

Я взял пакет из-под прилавка и снова вытащил карту.

– Наличных у вас нет? – спросила она.

– Нет, к сожалению.

Она махнула рукой.

– Но я хочу заплатить, – сказал я. – Я не в том смысле.

Она устало улыбнулась:

– Забирайте так.

– Большое спасибо, – ответил я, сложил все в пакет и пошел к лестнице, с этой стороны зала она выводила в подобие холла с плакатами про акции от фирм по стенам. Я шагнул за двери; напротив, на той стороне улицы, в темноте сиял огнями «НК». На этом пятачке в центре большие магазины соединены подземными переходами, из пассажа можно попасть на нулевой этаж «НК», оттуда выйти на подземную торговую улицу, с левой стороны которой есть вход в другой торговый центр, «Галерею», а дальше по той же стороне – в Культурхюсет, а с другого конца она выходит на Пятачок[7] и, соответственно, к метро, к «Т-Сентрален», а оттуда туннели идут до вокзала. В дождь я всегда хожу здесь под землей, но и так просто тоже, подземелье меня притягивает, что-то в нем чудится мне сказочное; это наверняка детские еще воспоминания, тогда пещера была пределом нашей фантазии. Однажды зимой, я помню, выпало под два метра снега, году так в семьдесят шестом или семьдесят седьмом, и мы все выходные рыли норы и соединяли их туннелями по всему саду вплоть до соседского. Мы рыли как одержимые, и результат нас совершенно заворожил: вечером в темноте мы сидели и болтали под снегом.

Я прошел «Американский бар», там было полно народу, пятница, кто-то зашел посидеть после работы, у кого-то разогрев перед настоящим загулом вечером, всем в районе сороковника, у всех красные лоснящиеся лица, все сидели, повесив толстые куртки на спинки стульев, улыбались, пили, а тощие юные парни и девушки в черных фартуках пробирались между ними, принимали заказы, ставили на столы подносы с пивом, забирали пустые кружки. Шум человеческого веселья, – теплое, добродушное гудение, приправленное взрывами хохота, донеслось до меня, когда дверь распахнулась и компания из пяти человек встала на пороге, каждый чем-то занят, кто-то искал в сумке сигареты или помаду, кто-то набрал номер и поднес мобильник к уху, в ожидании ответа оглядывая улицу, кто-то хотел привлечь чье-то внимание, чтобы просто улыбнуться, ничего больше, только дружеская улыбка.

– Такси до Рейерингсгатан, – услышал я за спиной.

Вдоль по улице медленно и печально тянулся поток машин, лица едущих в них освещали уличные лампы, насыщая салоны мистическим свечением, а водители еще синевато мерцали в отсветах приборной панели. В некоторых машинах долбили басы и ударные. На противоположный тротуар вытекал поток посетителей из «НК»; вскоре голос из громкоговорителя начнет объявлять, что через пятнадцать минут универмаг заканчивает свою работу. Пышные меха, мелкие, поскуливающие песики, темные кашемировые пальто, кожаные перчатки, гроздья пакетов с покупками. Один-другой молодежный пуховик, одни-другие джоггеры, пара вязаных шапок. Какая-то женщина бежала, придерживая шапку рукой, и юбка под расстегнутым пальто билась о ее ноги. Куда она так спешит? Картина была почти тревожная, и я обер-

[7] Пятачок (*шв. Plattan*) – разговорное название нижнего уровня стокгольмской площади Сергеля (Сергельсторгет) в самом центре города.

нулся ей вслед. Но ничего не стряслось, она просто свернула на углу к Кунгстрэдгорден. На каких-то решетках у стены сидели три бомжа. Перед одним стояла картонка, на ней тушью было написано, что ему нужны деньги на ночлег. Шапка с несколькими монетками лежала рядом. Двое других выпивали. Я отвернулся, проходя их, у «Академкниги» перешел дорогу и быстро зашагал мимо суровых, как будто бы безликих фасадов, думая о Линде, что она, возможно, злится, возможно, считает, что вечер уже испорчен, и как мне не хочется со всем этим разбираться. Еще один перекресток, прямо мимо дорогущего итальянского ресторана, короткий взгляд на кафе «Глен Миллер», у которого как раз в ту секунду из такси выгружались двое, и дальше к «Налену». Около него был припаркован огромный музыкальный шикарус с прицепом, за ним белый фургон Шведского телевидения. Из него по тротуару расползался толстый пук кабелей, я безуспешно стал было вспоминать, кто там нынче выступает, но уже поднялся на свои три ступеньки, набрал на двери код и вошел в подъезд. Стоило мне шагнуть на лестницу, как этажом выше открылась и хлопнула дверь. По грохоту я догадался, что это русская. Ретироваться в лифт было поздно, я продолжил подъем, и точно, она уже спускалась мне навстречу. Она сделала вид, что не видит меня. Я поздоровался все равно.

– Привет! – сказал я.

Она что-то такое пробормотала, только уже миновав меня.

Такие соседи, как наша русская, бывают только в аду. Первые семь месяцев нашей жизни здесь ее квартира пустовала. А потом однажды ночью мы проснулись в половине второго от шума в подъезде, ее дверь грохнула, и под нами, у нее в квартире, врубили музыку на такую громкость, что мы с Линдой не слышали друг друга. Диско, с басом и большим барабаном, отчего у нас дрожал пол и звенели стекла. Ощущение было такое, как будто мы включили у себя в комнате стереоустановку на полную громкость. Линда была на восьмом месяце и плохо спала, но даже я, хотя обычно дрыхну под любую канонаду, и думать забыл о сне. В перерывах между песнями мы слышали, как она кричит и вопит. Мы встали и пошли в гостиную. Что делать? Позвонить на горячую линию? Она как раз для таких случаев. Я был против, это уж слишком по-шведски, неужели нельзя просто спуститься вниз, позвонить в дверь и объяснить? Конечно, можно, но чур я и пойду. Я пошел сам. Долго звонил, когда мне не открыли, стал барабанить в дверь, но никто не вышел. Еще полчаса сидения в гостиной. Наверняка они сейчас сами уймутся. Постепенно Линда так разъярилась, что сама пошла вниз, и тут женщина внезапно открыла дверь. Она сразу все поняла! Она шагнула к Линде, погладила ее живот, ой, да ты носишь ребенка, сказала она Линде на своем русифицированном шведском, я извиняюсь, плохо получилось, но меня бросил муж, и я не знаю, что теперь делать, разумеешь? Но ты беременна, тебе надо спать, милочка моя.

Линда вернулась счастливая, что ей удалось достучаться до соседки, рассказала мне, как они поговорили, мы вернулись в спальню и легли. Через десять минут, как только я уснул, сумасшедший концерт продолжился. Та же самая музыка на прежней громкости с теми же воплями между песнями.

Мы снова вылезли из кровати и сели в гостиной. Время шло к половине четвертого. Что делать? Линда хотела звонить на горячую линию, но я не хотел, потому что хоть звонки и анонимные в том смысле, что патруль не говорит, кто позвонил и пожаловался на непорядок, соседка сложит два и два и сама без труда догадается, а она в таком нестабильном виде, что вызывать патруль – только напрашиваться на неприятности в дальнейшем. Тогда Линда предложила, что сейчас мы перетерпим, а утром напишем ей вежливое письмо и скажем, что мы люди толерантные и все понимаем, но такой уровень звука посреди ночи неприемлем. Линда легла на диване в гостиной, животом вверх и тяжело дыша, я вернулся в спальню, и час спустя, то есть около пяти утра, шум наконец прекратился. На другой день Линда написала письмо, уходя, мы кинули его соседке в ящик, и все было тихо часов до шести вечера, когда кто-то

стал барабанить нам в дверь. Русская соседка. Упрямое испитое лицо было белым от ярости. В руке она комкала письмо Линды.

– Это что, блин, такое? – орала она. – Да как вы смеете?! В моем собственном доме! Даже не думайте указывать, что мне делать у себя дома!

– Письмо вежливое… – начал я.

– С тобой говорить вообще не буду! – заявила она. – Зови начальника!

– Что вы имеете в виду?

– Ты в семье никто. Тебя выгоняют курить на улицу. Торчишь во дворе как придурок, курам на смех. Думаешь, я тебя не видела? Давай мне ее.

Она сделала несколько шагов, намереваясь пройти мимо меня в квартиру. От нее несло перегаром. У меня колотилось сердце. Ярость – это единственное, чего я всерьез боюсь. Мне никогда не удается предотвратить слабость, которая тогда разливается по всему телу. Ноги ватные, руки ватные, голос дрожит. Но она не факт что заметит.

– Говорите со мной, – сказал я и шагнул ей навстречу.

– Нет! – заголосила она. – Я буду с ней говорить. Она письмо писала.

– Послушайте, – сказал я. – Вы включали очень громкую музыку посреди ночи. Мы не могли спать. Так делать нельзя. Вы сами понимаете.

– Ты не смеешь указывать, что мне делать.

– Возможно, но есть правила общежития, – сказал я. – Они касаются всех, кто живет в доме.

– Ты знаешь, сколько я плачу за квартиру? Пятнадцать тысяч в месяц!!! Я здесь живу восемь лет. Никто никогда не жаловался. Тут заявляетесь вы. Мелкие добропорядочные людишки. «Я ведь беременна».

На этих словах она скорчила рожу, изображая добропорядочность: сжала губы и покивала головой. Нечесаная, бледная, таращит глаза.

Она прожгла меня взглядом. Я опустил глаза. Она развернулась и пошла вниз.

Я закрыл дверь и повернулся к Линде. Она стояла в коридоре, привалившись к стенке.

– Да уж, решили вопрос, – сказал я.

– Ты о письме? – спросила Линда.

– Да. Теперь начнется.

– Хочешь сказать, что я виновата? Нет, это она съехала с катушек. Я здесь ни при чем.

– Успокойся, – сказал я. – Не хватало нам еще поссориться.

В квартире под нами завели музыку на такой же громкости, что и ночью. Линда посмотрела на меня.

– Пойдем пройдемся?

– Мне не близка мысль, что нас выживают из дома, – ответил я.

– Находиться тут все равно невозможно.

– Невозможно, да.

Пока мы одевались, музыка прекратилась. Возможно, ей самой было слишком громко. Но мы все равно пошли гулять, спустились в гавань у Нюбруплан, в черной воде отражались огни, медленно приближавшийся паром на Юргорден расталкивал носом слоистую шугу, затянувшую фарватер. «Драматен» на другой стороне дороги был похож на замок. Это одно из моих любимых зданий в городе. Не из-за красоты, потому что красотой оно не блещет, но из-за особой ауры, которая исходит от театра и его окрестностей. Возможно, все объяснялось просто: камень стен светлый, почти белый, а сами плоскости такие большие, что здание сияет даже в самые темные дождливые дни. Постоянно дующий с моря ветер, развевающий флаги у входа, усиливал ощущение открытого пространства, зато гнетущей монументальности, часто зданиям присущей, не было. Не похож ли он на невысокую гору у моря?

Мы шли по Страндгатан рука в руке. Море до самого Шеппсхольмена было черным. Да еще окна светились лишь в нескольких зданиях, и все создавало чудно́й ритм города, он словно заканчивался, перетекал в пригород и природу, а заново начинал набирать обороты на другой стороне, где Гамла-Стан[8], Слюссен и вся возвышенность в сторону Сёдера сверкали, переливались огнями и шумели.

Линда травила байки о «Драматене», в котором она, можно сказать, выросла. Ее мама, служа там актрисой, в одиночку растила их с братом и частенько брала с собой на репетиции и спектакли. Для меня это была ожившая легенда, для Линды обыденность, о которой она не особо любила говорить и сейчас бы не стала, конечно, если бы я не выспрашивал. Она все знала об актерах, их тщеславии и самоотдаче, страхе и интриганстве, со смехом говорила, что блестящие актеры зачастую самые неумные и непонятливые и что актер-интеллектуал – это оксюморон; но хоть она и презирала актерство, презирала их манеру и пафос, их дешевые и пустые, взрывоопасные и переменчивые чувства и жизни, но мало что она так высоко ценила, как их сценические шедевры; например, она страстно рассказывала о бергмановской постановке «Пер Гюнта» – она видела ее бессчетное число раз, работая в тот момент гардеробщицей в «Драматене», сколько в пьесе было фантастического и сказочного, но также бурлеска и абсурда, – и об уилсоновской постановке «Игры снов» в «Стадстеатер», где она работала в литературной части, постановке более строгой и стилизованной, но столь же магической. Линда сама в свое время собиралась стать актрисой, два года подряд доходила до последнего тура на экзаменах в Театральную школу, но когда ее не взяли и второй раз, ей перехотелось, все равно ее никогда не возьмут, и она устремила взгляд в другую сторону, подала документы на писательское мастерство в Народный университет Бископс-Арнё, и через год дебютировала сборником стихов, написанных за год учебы там.

Сейчас она рассказывала мне о гастролях, в которые съездила с «Драматеном». Для всего мира это театр Бергмана, они всюду приезжали как звезды, в тот раз в Токио. Шведские актеры, рослые, развязные и пьяные, ввалились в один из лучших ресторанов Токио, никакого тебе разуться или вообще как-то соотнестись с местным антуражем, наоборот, машут руками, тушат окурки в чашках саке, громко окликают официанта. Линда в коротком платье, у нее красная помада, черные волосы, стрижка «паж», сигарета в руке, и она неровно дышит к Петеру Стормаре, который тоже здесь. Лет ей пятнадцать, и для японцев, как сама говорит, она представляла комическое зрелище. Но они, естественно, и бровью не повели, а тихо обслуживали их, даже когда один швед вывалился сквозь бумажную стену на улицу. Это Линда рассказывала со смехом.

– Когда мы собрались уходить, – сказала она, глядя на мост Юргордсбрун вдали, – официант вручил мне подарочный пакет. Комплимент от шефа, сказал он. Я заглянула туда, и знаешь, что там было?

– Нет, – сказал я.

– В пакете был мешок мелких живых крабов.

– Крабов? Это что-то значит?

Она пожала плечами:

– Не знаю.

– И что ты с ними сделала?

– Взяла с собой в гостиницу. Мама так набралась, что ее надо было транспортировать. Я поехала одна в такси, поставила пакет в ногах. А в номере налила в ванну холодной воды и вытряхнула их в воду. И они всю ночь ползали в ванне, пока я спала за стенкой. Все это посреди Токио.

– А дальше? Что ты с ними сделала?

[8] Гамла Стан – Старый город (*швед.*), исторический центр Стокгольма.

– Здесь история заканчивается, – сказала она и сжала мою руку, улыбнувшись мне снизу вверх.

У нее с Японией особые отношения. За сборник стихов она получила как раз японскую премию, картину с японскими иероглифами, до недавнего времени висевшую у нее над столом. И что-то есть чуть-чуть японское в ее тонких и красивых чертах лица.

Мы побрели вверх к площади Карлаплан; воды в округлом бассейне, из середины которого в летнее время бьет огромный фонтан, не было, а дно засыпало листьями с деревьев вокруг.

– Помнишь, как мы ходили на «Привидений»[9]? – спросил я.

– Конечно! – сказала она. – Я никогда не забуду!

Я так и знал, она вклеила билет на тот спектакль в фотоальбом, который завела, забеременев.

«Привидения» оказались последней работой Бергмана в театре, а мы ходили на спектакль, еще не будучи парой, одна из первых вещей, которые мы сделали вместе, разделили друг с другом. Полтора года назад, а кажется, что в другой жизни. Она посмотрела на меня теплым взглядом, от которого я таял. На улице было холодно, задувал резкий, обжигающий ветер. Что-то заставило меня вдруг задуматься, на какой восточной долготе находится Стокгольм – было в нем что-то чуждое, с чем я не сталкивался дома, но я не мог определить, что именно. Вот самый богатый район города, совершенно мертвый. Все сидят по домам, на улицах не бывает толчеи, хотя тротуары здесь сделаны шире, чем в других местах в центре.

Женщина и мужчина с собакой шли нам навстречу, он – заложив руки за спину, в солидной меховой шапке, она – в шубе; перед ней, принюхиваясь, семенил мелкий терьерчик.

– Сядем где-нибудь посидим? Пиво или что еще? – спросил я.

– Давай. Я уже есть хочу, – сказала она. – Бар в «Зите»?

– Отличная идея.

От холода я покрылся гусиной кожей и поднял воротник пальто.

– Господи, что ж за холодина. Ты не мерзнешь? – спросил я.

Она помотала головой. На ней был огромного размера пуховик, взятый напрокат у главной подруги Хелены, ходившей с пузом того же размера ровно год назад, прошлой зимой, и меховая шапка с длинными завязками с меховыми помпонами на концах, я купил ее Линде, когда мы были в Париже.

– Пихается?

Линда положила обе руки на живот.

– Нет. Малыш спит, – сказала она. – Он почти всегда засыпает, когда я хожу.

– Малыш, – повторил я. – Когда ты так говоришь, меня дрожь прошибает. А обычно я как будто не могу до конца понять, что в тебе целый человек помещается.

– А вот и да, – сказала Линда. – У меня такое чувство, что я его уже знаю. Помнишь, как он разозлился на тот тест?

Я кивнул. Линда была в группе риска по диабету, потому что у нее папа диабетик, и для анализа ей велели съесть какое-то сахарное месиво; она утверждает, что ничего более тошнотворного и омерзительного в жизни не ела, и малыш буянил в животе час с лишним.

– Она или он тогда очень удивился, – сказал я с улыбкой, глядя на Хюмлегорден, начинавшийся на другой стороне улицы. Из-за куполов света, высвечивавших где-то деревья с отяжелевшими стволами и растопыренными ветками, а где-то мокрые желтые травяные поляны и оставлявших в промежутках сплошную черноту, ночью парк завораживал, но не как лес завораживает, а как театр. Мы пошли по дорожке вниз. Кое-где еще лежали кучи листьев, но в целом и газоны, и дорожки через них были чистые, как пол в гостиной. Какой-то зож-

[9] Имеется в виду пьеса Хенрика Ибсена.

ник медленно бегал тяжелой трусцой вокруг статуи Линнея, еще один спускался по пологой горке. Под нами, как я знал, располагалось огромное хранилище Королевской библиотеки, сиявшей огнями впереди. А через квартал начинался Стуреплан, район эксклюзивных ночных клубов. Мы жили в двух шагах от него, но как будто бы на другой планете. Там пристреливали народ прямо на улице, но мы узнавали об этом только из газет на следующий день; туда заглядывали, оказавшись в городе, мировые звезды; там считали нужным засветиться все шведские кумиры публики и элита бизнеса, о чем вся страна читала репортажи в вечерних газетах. Там не вставали в очередь на вход, а выстраивались в линию, и охранники проходили и выбирали, кто может зайти. Я раньше не видел не только такой жесткости и холода, как в этом городе, но и такого социокультурного разрыва. В Норвегии разрыв – просто географическая дистанция, и поскольку в стране живет так мало людей, то дорога на вершину, или в центр, коротка отовсюду. В каждом классе, уж точно школе, есть человек, достигший вершин в том или ином деле. Каждый знает кого-то, кто знаком с кем-то. В Швеции социальный разрыв гораздо больше, и поскольку деревни у них обезлюдели, почти все живут в городах, а люди с амбициями перебираются в Стокгольм, потому что все важное происходит здесь, то и разрыв гораздо заметнее: вроде бы так близко, а так далеко.

– Ты когда-нибудь задумываешься, откуда я родом? – спросил я и взглянул на нее.

Она покачала головой:

– Нет, по сути, нет. Ты Карл Уве. Мой прекрасный муж. Вот кто ты для меня.

– Из района массовой застройки на острове Трумёйя, вот откуда я родом, трудно представить что-то менее похожее на твой мир. А здесь я не ориентируюсь в жизни. Все мне глубоко чужое. Помнишь, что сказала мама, впервые зайдя в нашу квартиру? Нет? «Вот бы дедушка на это посмотрел, Карл Уве» – вот что она сказала.

– Так это же хорошо.

– Ты точно понимаешь, о чем речь? Для тебя квартира как квартира. А для мамы – бальный зал примерно, понимаешь?

– А для тебя?

– Да, для меня тоже. Но я не о том говорю. Не хорошая она или плохая. А о том, что я вырос совсем в другом антураже. Неизысканном до невероятности, понимаешь? Мне на него насрать, и на этот тоже, я просто хочу сказать, что это не мое и моим не станет, сколько бы я здесь ни жил.

Мы перешли дорогу, свернули на узкую улочку и пошли вглубь квартала, поблизости от которого Линда выросла, мимо «Сатурнуса» и вниз по Биргер-Ярлсгатан к кинотеатру «Зита». Лицо закоченело от холода. Бедра казались ледяными.

– Повезло тебе, – сказала Линда. – Это же большой плюс? Что у тебя есть куда стремиться? Было откуда вырваться и куда ворваться?

– Понимаю, о чем ты, – сказал я.

– Здесь все было к моим услугам. Я в этом росла. И почти не могу отделить себя от этого всего. Плюс ожидания, само собой. От тебя ведь ничего не ждали? Кроме того, что ты выучишься и найдешь себе работу?

Я пожал плечами:

– Я никогда не смотрел на это так.

– Понимаю, – сказала она.

Повисла пауза.

– А я всегда жила в этом. Может быть, сама мама и не мечтала ни о чем, кроме того, чтобы мне было хорошо…

Она посмотрела на меня:

– Поэтому она так тебе и рада.

– А она рада?

– Неужели ты не заметил? Ты должен был заметить!

– Да-да, заметил.

Я вспомнил, как я первый раз встретился с ее мамой. Маленький дом на старом лесном хуторе. На дворе осень. Мы сели за стол сразу, как вошли. Горячий мясной суп, домашний свежий хлеб, стеариновая свеча на столе. Время от времени я чувствовал на себе ее взгляд. Любопытный и теплый.

– Но кроме мамы, вокруг меня в детстве были и другие люди. Юхан Нурденфальк Двенадцатый – ты же не думаешь, что он стал школьным учителем. Такие деньги и такое культурное наследие! Все мы должны были преуспеть и многого добиться. Трое моих приятелей покончили с собой. А у скольких есть или была анорексия, я даже думать боюсь.

– Бред какой-то, – ответил я. – Чего людям неймётся?

– Я не хочу, чтобы дети росли здесь, – сказала Линда.

– Уже дети?

Она улыбнулась:

– Да.

– Тогда остается Трумёйя, – сказал я. – Там мне известно только об одном человеке, покончившем с собой.

– Не шути на эту тему.

– Нет-нет.

Мимо процокала на шпильках женщина в длинном красном платье. В одной руке она держала черную кожаную сумку, а другой стягивала на груди черную вязаную шаль. Прямо за ней шли два бородатых молодых человека в парках и трекинговых ботинках, один с сигаретой в руке. За ними – три подружки, разодетые на праздник, все со стильными клатчами в руках, и как минимум в ветровках поверх платьев. По сравнению с Эстермальмом тут был цирк чистой воды. По обеим сторонам улицы светились рестораны, полные людей. Перед «Зитой», одним из двух независимых кинотеатров в этом районе, дрожа от холода, сбилась небольшая толпа.

– Я серьезно, – сказала Линда. – Может, не Трумёйя. Но точно Норвегия, там более дружелюбные люди.

– Есть такое дело, – сказал я. Толкнул тяжелую дверь и придержал ее перед Линдой. Снял варежки и шапку, расстегнул пальто, развязал шарф. – Но в Норвегию не хочу я. Вот в чем проблема.

Она ничего не ответила, потому что уже рассматривала афиши.

– У них идут «Новые времена»! – сказала она.

– Пойдем на них?

– Давай! Только мне надо что-нибудь съесть. А который час?

Я поискал глазами часы. Нашел компактные, толстые на стене за кассой.

– Без двадцати девять, – сказал я.

– А сеанс в девять. Успеем. Давай ты купишь билеты, а я посмотрю в баре чего-нибудь съестного. Да?

– Да, – кивнул я, вытащил из кармана смятую сотенную и пошел к кассе.

– На «Новые времена» билеты есть? – спросил я.

Билетерша, никак не больше двадцати лет от роду, посмотрела на меня высокомерно, как будто не понимая мой шведский.

– Пардон?

– Два-билета-на-новые-времена-есть?

– Да.

– Два, пожалуйста. Последние ряды, середина. – Я повторил «два» по-шведски и для надежности показал ей на пальцах.

Она распечатала билеты и молча положила их на прилавок передо мной, быстро расправила сотенную, прежде чем убрать ее в кассовый аппарат. Я зашел в бар, переполненный людьми, высмотрел Линду в углу у прилавка и протиснулся к ней.

– Я тебя люблю, – сказал я.

Я почти никогда не говорю так, и, когда она подняла на меня лицо, глаза сияли.

– Правда? – сказала она.

И мы поцеловались. Тут бармен поставил перед нами корзинку с чипсами такос и блюдце с чем-то, по виду похожим на соус гуакамоле.

– Пива хочешь? – спросила она.

Я помотал головой:

– Потом, может быть. Но ты, наверно, устанешь уже.

– Скорее всего. Билеты купил?

– Да.

Первый раз я смотрел «Новые времена» в киноклубе в Бергене в двадцать лет. Начиная с какого-то момента я хохотал не останавливаясь. Мало кто помнит, когда смеялся в последний раз, и если я помню приступ смеха столько лет назад, то, естественно, потому только, что такое редко со мной случается. Мне запомнился и стыд, что потерял над собой контроль, и радость, что дал себе волю. Сцену, ставшую катализатором неудержимого хохота, я до сих пор помню кристально ясно. Чаплину предстоит выступить в каком-то варьете. Выступление важное, многое поставлено на карту, Чаплин волнуется, для надежности записывает текст песни на бумажки и перед выходом на сцену прячет их в рукав. Но выйдя на танцпол, слишком эмоционально жестикулирует, и бумажки разлетаются. И вот он стоит, без текста, оркестр за спиной наяривает музыку. Что он будет делать? Конечно, он кидается искать бумажки, и, пока оркестр раз за разом играет вступление, он импровизирует якобы танец, чтобы публика не заподозрила, чем он тут занимается. Я хохотал до слез. Сцена переходит в следующую, потому что бумажки ему найти не удается, как он ни рыщет в танце по всей сцене, и в конце концов ему приходится начинать петь. Он поет, произнося слова, которые выдумывает на ходу, но они звучат похоже на настоящие, смысл пропадает, но сохраняется звучание и мелодия, и я помню, как я восхитился, не только сам, но и от лица всего человечества, потому что в сцене было много тепла, и снял ее один из наших.

Устраиваясь в тот вечер в кинозале в кресле рядом с Линдой, я гадал, что нас ждет. Чаплин, типа. Герой эссе, типа, Фоснеса Хансена[10], когда тема – юмор. И найдется ли там над чем так смеяться, как я ржал пятнадцать лет назад?

Нашлось. Ровно на том же самом месте. Чаплин выходит, приветствует публику, шпаргалки разлетаются из рукавов, он танцует, а ноги как бы волочатся за ним, сзади, и он ни на миг не теряет контакта с публикой, и все время, пока ищет бумажки и танцует, вежливо кивает зрителям. Во время воспоследовавшей пантомимы у меня по щеке скатилась слеза. Таким прекрасным казалось мне в тот вечер все. Мы посмеивались, выходя из зала, Линда, я подозревал, от радости, что я такой довольный, но и сама тоже была веселая. Рука в руке поднялись мы по каменной лесенке рядом с финским бюро культуры, смеясь и вспоминая сцены из фильма. Прошли по Рейерингсгатан, мимо пекарни, мебельного магазина и видеосалона *US Video*, наконец, зашли в подъезд, заперли дверь и пошли к себе на третий этаж. Было уже без двадцати одиннадцать, у Линды слипались глаза, и мы сразу улеглись.

Десятью минутами позже внизу нещадно загремела музыка. Я уже и думать забыл о русской и с перепугу рывком сел в кровати.

– Ептыть, – сказала Линда. – Не может быть, чтоб снова.

Я едва слышал ее.

---

[10] Фоснес Хансен Эрик (р. 1965) – норвежский писатель, автор, в частности, романа «Титаник. Псалом в конце пути».

– Еще нет одиннадцати, – сказал я. – И сегодня вечер пятницы. Мы ничего не можем возразить.

– Насрать, – сказала Линда. – Я все равно позвоню. Это ни в какие ворота не лезет.

Но не успела она встать и выйти из комнаты, как музыка замолкла. Мы снова улеглись. На этот раз я уже спал, когда снова включили музыку. На такую же чудовищную мощность. Я посмотрел на часы. Половина двенадцатого.

– Позвонишь? Я глаз не сомкнула.

Но все повторилось. Через несколько минут она прикрутила звук, и стало тихо.

– Я лягу в гостиной, – сказала Линда.

Ночью еще дважды врубалась музыка. Один раз русская осмелела и не выключала ее полчаса. Смешно-то смешно, но неприятно. Безумный человек взялся нас ненавидеть. Можно ждать чего угодно, такое было у нас чувство. Однако до следующего случая прошла неделя. Мы выставили несколько цветков в горшках на подоконник на нашей лестничной клетке, строго говоря, это часть общей территории, и не наше дело ей распоряжаться, но этажом выше так уже сделали, да и кто станет возражать против того, чтобы навести немного уюта в нашем холодном подъезде? Через два дня цветы пропали. Пропали и пропали, ладно, но сами горшки достались мне от прабабушки, я забрал их из дома в Кристинсанне после смерти бабушки в числе всего нескольких предметов, поэтому меня слегка раздражало, что они вдруг пропали. Или их украли, но кто крадет в наши дни цветочные горшки? Или их убрал кто-то, недовольный нашей инициативой с цветами. Мы решили повесить записку на доске объявлений внизу и спросить, не видел ли их кто-нибудь. Уже вечером записка была испещрена проклятиями и руганью, написанными синими чернилами на корявом шведском. Мы обвиняем жильцов в воровстве? Пусть мы тогда убираемся отсюда немедленно! Кем мы себя, сукко, вообразили? Еще через несколько дней я взялся собирать пеленальный столик, икейский, это предполагало, что я буду стучать молотком, но поскольку времени было семь вечера, то проблем я не видел. А зря, потому что не успел я сделать первые несколько ударов, как кто-то стал колотить по трубе: русская протестовала против нападок на нее, как она, очевидно, истолковала ситуацию. Перестать собирать из-за этого столик я не мог и продолжил. Через минуту внизу хлопнула дверь, и русская возникла у нас на пороге. Я открыл ей. Как мы смеем жаловаться на нее, когда сами такое устраиваем? Я попытался объяснить, что есть разница: в семь вечера собирать пеленальный столик или посреди ночи врубать на запредельную громкость музыку, но никто меня не услышал. Глядя сумасшедшими глазами и размахивая руками, она наращивала тяжесть обвинений. Она спала, а мы ее разбудили. Мы думаем, что мы чем-то ее лучше, а вот ни фига подобного…

С того дня она взяла этот метод на вооружение. Заслышав малейший звук из нашей квартиры, пусть даже мои тяжелые шаги, она начинала неистово колотить по трубе. Звук был назойливый, как больная совесть, особенно потому, что виновник его оставался невидим. Я ненавидел это, у меня было такое чувство, что меня нигде не оставляют в покое, даже в моей собственной квартире.

* * *

Приблизилось Рождество, и в квартире под нами стало тихо. Мы купили елку на базарчике в Хюмлегордене: уже стемнело, воздух был нашпигован снегом, на улицах происходила типичная предпраздничная толчея, когда люди проплывают друг мимо друга, не замечая никого и ничего. Мы выбрали елку, продавец, одетый в комбинезон, упаковал ее в сетку, чтобы удобнее было нести, я расплатился и закинул сверток на плечо. Только тут я задумался, не великовата ли она. Спустя полчаса, много раз сделав остановки по дороге, я втащил елку в квартиру. Увидев ее в гостиной, мы захохотали. Она была огромная. Мы купили себе гигант-

скую елку. Хотя, может, это было и не так глупо, в этом году нам предстояло в первый и последний раз праздновать Рождество вдвоем. В самый праздник мы наелись шведских традиционных угощений, которые привезла нам Линдина мама, распаковали подарки и посмотрели «Цирк» Чаплина, потому что уже купили себе полное собрание его фильмов. В рождественские каникулы мы смотрели их, ходили на дальние прогулки по безлюдным улицам, ждали, ждали. Русскую соседку мы забыли, внешнего мира в эти дни для нас не существовало. Мы съездили к Линдиной маме, провели там несколько дней, а вернувшись домой, принялись готовить новогодний ужин, на который мы ждали Гейра с Кристиной и Андерса с Хеленой.

С утра я убрал квартиру, сходил в магазин за продуктами, погладил большую белую скатерть, расставил стол на одну доску и накрыл его, начистил серебро и подсвечники, разложил салфетки, поставил вазы с фруктами, чтобы к приходу гостей в семь вечера все блестело и сверкало подлинной буржуазностью. Первыми пришли Андерс и Хелена с дочкой. Мама Хелены учила Линду, и, хоть она на семь лет младше Хелены, они сдружились. С Андерсом Хелена была вместе уже три года.

Хелена актриса, а Андерс… он криминальный тип. Когда я открыл им, они стояли за дверью с красными-красными лицами, с мороза.

– Здорово, старик! – сказал Андерс. На нем была меховая ушанка, объемный синий пуховик и туфли на тонкой подошве. Не эталон элегантности, но странным образом Андерс составлял достойную пару Хелене, которая в своем белом пальто, черных высоких сапогах и белой меховой шапке оным эталоном, безусловно, была. Рядом с ними сидел в коляске их ребенок и смотрел на меня серьезно.

– Привет, – сказал я и заглянул девочке в глаза. Ни одна мышца ее лица не дрогнула.

– Заходите! – пригласил я и отступил на шаг.

– Можно мы коляску в квартиру закатим? – спросила Хелена.

– Конечно. Пройдет или открыть вторую створку двери?

Пока Хелена возилась с коляской, протискивая ее в дверь, Андерс в коридоре снимал с себя верхнюю одежду.

– А где сеньора? – сказал он, растирая руки.

– Отдыхает, – ответил я.

– Все в порядке?

– Да.

– Отлично! – сказал он. – Ну и холодрыга на улице!

Крепко вцепившись руками в перекладину коляски, к нам в коридор въехала юная девица.

Хелена поставила коляску на тормоз, вытащила девочку и, пока та замерла на полу, сняла с нее шапку и расстегнула молнию на красном комбинезоне. Под ним на ней было синее платье, белые колготы и белые туфли.

Из спальни вышла Линда с сияющим лицом. Она поцеловала Хелену, а потом они долго обнимались, глядя глаза в глаза.

– Какая ты красавица! – сказала Хелена. – Как тебе удается? Помню, когда я была на девятом месяце…

– Просто старое платье для беременных, – ответила Линда.

– Тебе очень идет. Красавица!

Линда довольно улыбнулась, потянулась вперед и чмокнула Андерса.

– Шикарный стол! – прокомментировала Хелена, входя в гостиную. – Вау!

Не зная, куда себя деть, я пошел на кухню, якобы что-то проверить, но на самом деле переждать, пока все войдет в берега. Но тут же снова позвонили в дверь.

– Ну? – сказал Гейр, когда я открыл ее. – Успел все отмыть?

– А чего это вы сегодня? Мы же на понедельник договаривались. У нас народ собрался Новый год отмечать, так что вы прямо некстати, – ответил я. – Ну ничего, попробуем вас как-нибудь втиснуть…

– Привет, Карл Уве, – сказала Кристина, целуя меня. – Вы в порядке?

– Еще в каком, – сказал я и отошел от двери, чтобы они могли раздеться.

Тут и Линда вышла с ними поздороваться. Еще несколько поцелуев, еще снятые пальто и ботинки, наконец, все заходят в гостиную, где несколько минут дочка Хелены и Андерса, ползком изучающая местность, служит спасительным объектом всеобщего внимания, но потом ситуация приходит в норму.

– Я гляжу, вы рьяные хранители рождественских традиций, – сказал Андерс, кивая на елку в углу.

– Отдали за нее восемьсот крон, – сказал я. – Так что будет стоять, пока в ней жизнь теплится. Мы денег на ветер не бросаем.

Андерс заржал.

– Господин директор начал шутить!

– Да я не переставал. Просто вы, шведы, ни черта не понимаете из того, что я вам говорю!

– Ага. Сначала я вообще ни слова разобрать не мог.

– Так вы в этом году купили елочку для нуворишей? – спросил Гейр, пока Андерс тараторил на псевдонорвежском, как это всегда делают шведы: побольше *kjempe*[11], иногда *gutt*[12], который для шведского уха звучит комично, и все это с энергией и энтузиазмом и задирая интонацию в конце каждой фразы. Это, естественно, не имело ничего общего с моим диалектом, из-за чего они называли его нюнорском[13].

– Мы нечаянно, – сказал я и улыбнулся. – Такая огроменная елка ни к чему, признаю ошибку. Но когда мы ее покупали, она казалась гораздо меньше. Когда уж сюда притащили, поняли, до чего она здоровая. Признаюсь, у меня всегда были большие проблемы с определением размеров на глаз.

– Андерс, а ты знаешь, что такое *kjempe*? – спросила Линда.

Он покачал головой:

– Я знаю *avis*[14]. *Gütt*[15]. И *vindu*[16].

– Представь себе, это наше *jätte. Kjempestor* значит «очень большой».

Линда боится, что я мог обидеться? Или чего это она?

– Я только через полгода поняла, что это одно и то же слово, – продолжала она. – Наверняка есть куча слов, которые я считаю понятными, а на самом деле не понимаю. Я боюсь подумать, как я два года назад переводила Сетербаккена. Тогда я норвежского вообще не знала.

– А Гильда? – спросила Хелена.

– Нет, она знала меньше моего. Но я не так давно открыла книгу, первые страницы, вроде все нормально. Кроме одного слова. Я краской заливаюсь, когда думаю об этой ошибке. Я перевела *stua, гостиная*, как *stuga*[17]. Получилось, что он сидит в домике, а не в гостиной, как в тексте.

– А как будет *stuga* по-норвежски? – спросил Андерс.

– *Hytte*, – ответил я.

---

[11] *Kjempe* переводится с норвежского как «очень» или «великан». Соответствует шведскому *jätte*.

[12] Мальчик (*норв.*).

[13] Нюнорск (*nynorsk*, букв. новонорвежский язык) – второй официальный язык в Норвегии. Первый называется букмол (*bokmål*).

[14] Газета (*норв.*).

[15] Мальчик (*норв., искаж.*, ср. выше).

[16] Окно (*норв.*).

[17] Домик, избушка (*швед.*).

– А, *hytte*! Да, есть разница, – сказал он.

– Но никто нам на вид не поставил, – сказала Линда. Она смеялась.

– Кто хочет шампанского? – спросил я.

– Давай я принесу, – сказала Линда.

Принеся бутылку, она составила вместе пять бокалов и начала снимать металлическую сетку, слегка отвернувшись и прищурив глаза, словно бы ожидая, что пробка выстрелит в потолок. Но она ткнулась ей в руки с мокрым хлопком, и Линда занесла бутылку, из которой выпирало шампанское, над бокалами.

– Хай-класс, – сказал Андерс.

– Я когда-то давно работала в ресторане, – сказала Линда. – А вот с наливать у меня беда. Глазомера не хватает, и разлить вино по бокалам вечно превращалось в лотерею – то перелью, то недолью.

Она выпрямилась и стала передавать нам по одному еще пузырящиеся бокалы. Себе она налила безалкогольного.

– Скол[18]! И добро пожаловать!

Мы чокнулись. Когда шампанское было выпито, я пошел на кухню заняться омарами. Гейр пошел со мной и уселся на стул у кухонного стола.

– Омары, – начал он. – Поразительно, как ты мигом перестроился на шведскую жизнь. Я прихожу к тебе в Новый год, ты живешь тут всего два года и подаешь традиционную шведскую еду.

– Я не совсем один составлял меню, – ответил я.

– Да я знаю, – сказал он и улыбнулся. – А мы с Кристиной однажды устроили мексиканский Новый год. Я рассказывал?

– Рассказывал, – сказал я, разрезал омара пополам, выложил на блюдо и взялся за следующего.

Гейр заговорил о своем сценарии. Я слушал вполуха. «Да?» – вставлял я время от времени, показывая, что слушаю и слышу, хотя внимание мое было приковано к омарам. О сценарии он не мог говорить со всеми подряд, шанс представлялся ему только со мной наедине, сейчас или когда я пойду курить. Он написал первый вариант сценария, работал над ним полтора года, и я его прочел и написал свои замечания. Они были подробные, обширные, на девяносто страниц, и тон их, к несчастью, часто отдавал сарказмом. Я думал, что Гейр может стерпеть все, но это я плохо подумал, никто не в силах стерпеть все, особенно же трудно вынести сарказм, когда речь о твоей работе. Но я ничего не мог с собой поделать, у меня и с экспертными заключениями та же проблема, меня вечно тянет язвить. Проблема Гейрова сценария, которую он сам знал и признавал, была в чрезмерной отстраненности от действия и в недосказанности. Помочь тут мог только свежий сторонний взгляд. И вроде он его и получил, но ироничный, слишком саркастичный… Возможно, мной двигало неосознанное желание поквитаться с ним, а то он вечно «все сам знаю, пожалуйста».

Нет.

Нет?

– Я извиняюсь, правда, – сказал я, положил третьего омара на спину и распорол брюхо ножом. Панцирь здесь мягче, а внутренности такой консистенции, как будто их сделали искусственно, из какого-нибудь художественного пластика. И в самом красном цвете тоже было что-то от искусства. А мелкие изящные детали, вроде бороздок на клешнях или похожий на латы хвост, разве не могли они быть созданы в мастерской какого-нибудь художника Возрождения?

– И правильно делаешь, – ответил Гейр. – Десять «Богородиц» для исцеления твоей грешной злой души. Вот ты представь себе, каково это – каждый божий день сидеть с твоими ком-

[18] Скол (*норв. skål*) – традиционный скандинавский застольный тост.

ментариями и добровольно сдаваться на осмеяние? «Ты совсем идиот или что?» Ну я, наверно, как раз он, но…

– Это чисто технический вопрос, – сказал я и посмотрел на него, взрезая ножом панцирь омара.

– Технический? Технический? Тебе легко говорить. Ты можешь поход в туалет изображать двадцать страниц подряд, и народ будет читать с горящими глазами. Думаешь, каждый так умеет? Многие ли писатели отказались бы делать так же, если бы умели? Из-за чего, потвоему, народ резвится с модернистскими стихами, где по три слова на странице? Да просто они ничего другого не могут. И не говори, блин, что ты этого до сих пор не понял. Если б они могли, то делали бы. А ты можешь, но не ценишь это умение. Его ты ставишь низко, а понастоящему мечтаешь стать эссеистом. Да эссе каждый может написать! Это легче легкого.

Я посмотрел на белое мясо с красными нитками, оно открылось, когда панцирь раскололся. Почувствовал слабый запах соленой воды.

– Ты говоришь, что не видишь букв, когда пишешь, верно? – продолжал Гейр. – Я, блин, ничего кроме них и не вижу. Они сплетаются в паутину перед глазами. Через нее, понимаешь, наружу ничего не прорывается, все растет внутрь, как вросший ноготь.

– Ты сколько над ним работал? – спросил я.

– Год.

– Один год? Да это считай ничего. Я пишу уже шесть лет, а предъявить могу одно эссе об ангелах на сто тридцать страниц. Приходи в две тысячи девятом, если хочешь найти во мне больше сочувствия. Тем более что часть, которую я прочитал, мне понравилась. Потрясающая история, отличные интервью. Ее надо только переработать.

– Ха! – сказал Гейр.

Я положил на блюдо две половинки омара в панцире.

– Ты в курсе, что это единственный компромат, который у меня на тебя есть? – сказал я и взялся за последнего омара.

– По-моему, тебе известна еще пара вещей, о которых лучше не распространяться.

– Нет, то совсем по другому ведомству проходит.

Он засмеялся, громко и от сердца.

Потом несколько секунд молчал.

Он же не мог обидеться?

Я принялся выковыривать омара ножом.

Его так легко не поймешь. Если ты меня обидишь, сказал Гейр однажды, то ни за что об этом не узнаешь. Он был гордым, сколь и заносчивым, высокомерным, сколь и верным. Друзей он терял пачками, возможно, потому, что с пути не сворачивал и не боялся говорить, что думает. А думы его всем или почти всем были не по душе. Зимой прошлого года мы пережили непустячный разлад; когда мы шли куда-нибудь в бар, то в основном молча сидели на табуретках у стойки, а если что и бывало сказано между нами, то обычно – его едкое замечание в мой адрес или о моих делах; ну и я не оставался в долгу. Потом он пропал с радаров. А через две недели позвонила Кристина и сказала, что он в Турции собирает материал для работы и вернется через несколько месяцев. Я удивился, это было неожиданно, и почувствовал себя задетым, что он ничего мне об этом не рассказал. Еще несколько недель спустя друг пересказал репортаж норвежского телевидения из Багдада: там у Гейра брали интервью как у участника «Живого щита»[19]. Я улыбнулся про себя, это было очень в его духе, но так и не понял, почему он хотел скрыть все от меня. Потом выяснилось, что я каким-то образом обидел его. В чем состояла обида, я так и не знаю. Но когда он четыре месяца спустя, проведя несколько недель под бомбежками, вернулся в Стокгольм с тонной кассет с интервью, все стало как прежде.

[19] «Живой щит» – акция европейских добровольцев в Ираке в 2003 году.

Осенняя и зимняя хандра, походившая на кризис, исчезла, мы возобновили дружбу, и она началась с чистого листа.

* * *

Мы с Гейром одногодки, выросли в нескольких километрах друг от друга на двух разных островах около Арендала – Хисёйя и Трумёйя, но знакомы мы не были, поскольку первым естественным пересечением должна была бы стать гимназия, но к тому времени я давно уехал в Кристиансанн. Так что впервые я встретился с ним на празднике в Бергене, где мы оба учились. Он обретался на периферии арендалской тусовки, с которой я был косвенно связан через Ингве, и, болтая с ним, я подумал: чем не друг, которого мне как раз не хватало, потому что в тот первый бергенский год друга у меня не было и я лип к Ингве. Мы несколько раз сходили куда-то с Гейром вечерами, он все время смеялся, мне импонировало его ухарство, к тому же в силу природного любопытства к людям он многое мог о них рассказать. Он был из тех, кто докапывается до сути, и тем выделялся. У меня появился друг, с этой приятной мыслью я прожил весну восемьдесят девятого года. Но тут выяснилось, что он уезжает, Берген был для него перевалочным пунктом, и сразу после экзаменов он запаковал вещи и уехал в Упсалу, в Швецию. Тем летом я написал ему письмо, но как-то не отправил, а потом он исчез из моей жизни и мыслей. Через одиннадцать лет он прислал мне по почте книгу. Она была посвящена боксу и называлась «Эстетика сломанного носа». Ухарство и страсть докапываться до сути у автора сохранились, заключил я через несколько страниц, а многое по сравнению со студенческими временами добавилось. Он три года боксировал в клубе в Стокгольме, чтобы поближе познакомиться с кругом людей, о которых собрался писать. Ценности, которые общество всеобщего благоденствия задвигает, такие как мужество, честь, насилие и боль, здесь сохраняли значимость, и мне показалось интересным, насколько иначе выглядит общество, если посмотреть на него с такой точки зрения, со старорежимным набором ценностей. Искусство здесь в том, чтобы, встречаясь с наблюдаемым миром, не переносить в него того, что ты почерпнул в другом мире, постараться увидеть незнакомый мир каким он есть, исходя из его предпосылок и условий, и уже затем, стоя на этом фундаменте, вновь посмотреть наружу. Тогда все выглядит иначе. В книге Гейр соотносит то, что он рассматривает и описывает, с классической высокой антилиберальной культурой, от Ницше и Юнгера до Мисимы и Чорана. В ней не было «все на продажу», ничто не измерялось в категориях цены, и, глядя оттуда, я обнаружил, насколько вещи, всегда воспринимавшиеся мной как естественная данность, чуть ли не часть меня, на самом деле, наоборот, относительны и произвольны. В этом смысле книга Гейра оказалась для меня столь же важной, как «Статуи» Мишеля Серра, где архаичность, в которую мы все по-прежнему погружены, выпирает наружу с тревожащей очевидностью, или как «Порядок вещей» Мишеля Фуко, где тщательно описывается давление, которое современность и современный язык оказывают на наше восприятие и наши представления о действительности и где разбирается, как мир одних понятий, в котором мы все укоренены и живем, у нас на глазах сменяется другим. Объединяет названные книги то, что в них создается топос вне современности: или на обочине мейнстрима что-то маргинальное типа боксерского клуба, и он становится анклавом, где продолжают жить важнейшие моральные ценности недавнего прошлого, или в глубокой истории, что полностью видоизменяет нас, какими мы были или думали, что были. Видимо, я незаметно сместился в этот пункт, ощупью и совершенно неосознанно, а потом в мою жизнь вошли те самые книги, их более-менее положили на стол мне под нос, и новое стало для меня очевидным. Они сформулировали связными словами мои догадки, чувства и предчувствия, как оно всегда и бывает с книгами, показавшимися тебе эпохальными. Глупое недовольство, глупое раздражение, глупая безадресная злость. Сформулировали, но не дали направления, ясности, четкости. Именно книга Гейра оказалась столь важной для меня еще и

в силу схожести нашего с ним бэкграунда: мы были полными ровесниками, знали одни и те же места и определенных людей в них, мы потратили свою взрослую жизнь на то, чтобы читать, писать и учиться, – поэтому как получилось так, что он занимает радикально иную позицию? Начиная с младших классов школы меня и всех остальных детей призывали думать самостоятельно и критически. Понимание, что критическое мышление хорошо только до известного предела, а за этим пределом превращается в свою противоположность, в воплощенное зло, пришло ко мне уже в возрасте за тридцать. Что так поздно, спросит кто-нибудь. Отчасти в этом виновата моя неразлучная спутница, наивность, которая в своем простодушии деревенского толка могла поставить под сомнение само суждение, но ни в коем случае не его предпосылки, и, соответственно, никогда не задавалась вопросом, действительно ли «критический» является критическим, «радикальный» – радикальным, а «хороший» на самом деле хорош, хотя такие вещи обдумывает каждый разумный человек, когда он наконец вырывается из лап свойственной юности самопоглощенности и подчиненности взглядов эмоциям; отчасти в этом виновато воспитание, меня, как и многих в моем поколении, научили мыслить абстрактно, то есть изучать различные направления мысли в разнообразных областях знаний и уметь излагать их концепции более-менее непредвзято, желательно сопоставляя с другими направлениями мысли, и получать оценку именно за это, – хотя изредка и за мои собственные знания, мою любознательность, – но мысли и тогда не покидали пределов абстрактного, так что процесс мышления постепенно превратился в деятельность, оперирующую вторичными феноменами, направленную на такой мир, каким он представлен в философии, литературе, общественных науках, политике; а мир, в котором я жил – спал, ел, разговаривал, любил, бегал, который я нюхал и пробовал на вкус, который звучал, поливал дождем, задувал ветром, ощущался кожей, – он оставался вовне и не был предметом рассуждений. То есть я рассуждал и в нем тоже, но иначе, с практическим прицелом, способом «от-феномена-к-феномену», и с другими задачами: если в абстрактной действительности я думал ради того, чтобы ее объять рассудком, то в конкретной – чтобы взаимодействовать с ней. В абстрактной реальности я мог создать себя, себя как носителя мнений, а в конкретной я был какой есть: тело, взгляд, голос. Из этой конкретики и растет любая самостоятельность. В том числе самостоятельность мышления. И книга Гейра не просто рассказывала об этой реальности, она сама в ней пребывала. Он писал только о том, что слышал своими ушами, видел своими глазами и понимал увиденное и услышанное только благодаря тому, что стал частью описываемого мира. Такая форма рефлексии максимально соответствовала жизни, которую он описывал. Боксера ценят не за его мысли и высказывания, но за успехи на ринге.

Мизология, неприятие слова, как у Пиррона, пиррономания, не в эту ли сторону писателю стоит двигаться? Все, сказанное словами, можно словами и оспорить, и на что тогда диссертации, романы и литература? Если сформулировать иначе, то все, что один объявляет правдой, другой может объявить неправдой. Это нулевая точка, пункт, место, откуда начинают распространяться нулевые ценности. Но нулевая точка не есть мертвая, даже и для литературы, поскольку литература не исчерпывается словами, есть еще все то, что она вызывает в читателе. Именно такого рода избыточностью обеспечивается действенность литературы, а не избыточностью формальной, как думают многие. Загадочный, похожий на шифровальный код язык Пауля Целана ни в коем случае не является недоступным и закрытым, наоборот, он стремится проникнуть туда, куда обычному языку хода нет, но что мы тем не менее, где-то в глубине души, понимаем и узнаём или, если нет, открываем. Слова Целана невозможно оспорить словами. Также их содержимое нельзя ни во что конвертировать, оно существует только в них и в каждом, кто принял их в себя.

Живопись и отчасти фотография были так важны для меня по той же причине. В них нет слов, нет понятий, и мое переживание их, мое ощущение их важности, тоже беспонятийно. В этом было что-то глуповатое, слепое пятно интеллекта, область, наличие которой мне так

мучительно признать или с ней согласиться, но которая, видимо, представляет собой первоэлемент того, чем мне хотелось заниматься.

* * *

Через полгода после прочтения книги Гейра я написал ему письмо с вопросом, не хочет ли он написать статью для «Ваганта», где я тогда состоял в редколлегии. Он захотел, и с тех пор мы завели переписку, формально-профессиональную. Год спустя, когда я со дня на день собирался порвать с Тоньей и всей жизнью с ней в Бергене, я спросил его в письме, не знает ли он, где можно пожить в Стокгольме; он такого места не знал, но ответил, что я смогу пожить у него, пока буду искать жилье. С удовольствием, ответил я. Договорились, написал он, а когда ты планируешь приехать? Завтра, ответил я. *Завтра*? – спросил он.

Сколько-то часов спустя, после ночи в поезде Берген – Осло и следующих полудня в поезде Осло – Стокгольм, я сволок два своих чемодана с перрона вниз в ходы-переходы под Центральным вокзалом Стокгольма и потащился вперед в поисках камеры хранения с ячейками достаточного размера. Всю дорогу в поезде я читал, чтобы не думать о произошедшем в последние дни, из-за чего я и уехал, но здесь, в сутолоке, среди людей, спешащих на электрички домой или приехавших в город, беспокойство вырвалось из-под спуда. С холодом глубоко в душе я тащился по вокзалу. Запихнув чемоданы каждый в свою ячейку и положив два ключа в карман, где обычно лежали ключи от дома, я пошел в туалет и умылся холодной водой, чтобы немного прийти в себя. Несколько секунд я рассматривал себя в зеркале. Бледное и как будто отечное лицо, волосы нечесаные, а глаза… глаза… Пристальные, но устремленные не вовне, активно, что-то высматривая, а скорее как если бы увиденное запало в них, как если бы они все в себя впитывали.

Когда я обзавелся таким взглядом?

Я включил горячую воду и держал под ней руки, пока от них по телу не пошел жар, оторвал бумажное полотенце, вытер их, выбросил его в корзину под раковиной. Я весил сто один килограмм и надежд не имел ни на что. Но теперь я здесь, а это кое-что, подумал я, вышел из туалета, поднялся по лестнице в главный зал вокзала и встал посреди него, среди толпы людей, чтобы составить, так сказать, план. Времени было два с небольшим. В пять я должен был встретиться здесь же с Гейром. Значит, мне надо убить три часа. Нужно поесть. Мне нужен шарф. И копну на голове надо состричь.

Я вышел из вокзала и остановился у стоянки такси. Небо было серое и холодное, воздух влажный. Справа клубок дорог и бетонных мостов, позади них – вода, за ней – здания монументального вида. Слева широкая, запруженная транспортом дорога, прямо по курсу еще одна дорога, чуть выше она сворачивала налево и шла вдоль кирпичной ограды. За оградой виднелась церковь.

Куда идти?

Я поставил ногу на скамейку, скатал сигарету, закурил и пошел налево. Метров через сто остановился. Этот маршрут не внушал оптимизма, тут все было сделано для машин, проносившихся мимо, поэтому я развернулся, пошел назад и решил опробовать дорогу от вокзала вверх – она выводила на широкую авеню с большим торговым центром из красного кирпича по одной стороне. Поодаль была площадь, опущенная ниже уровня улиц, с ее правой стороны высилось стеклянное здание.

КУЛЬТУРХЮСЕТ – написано было на нем красными буквами. Я зашел внутрь, поднялся на эскалаторе на второй этаж, где обнаружилось кафе, купил себе багет с фрикадельками и салат из красной капусты и сел у окна, в которое мне была видна площадь и улица перед торговым центром.

Я собираюсь тут жить? Я тут теперь живу?

Вчера утром я был дома в Бергене.

Вчера было вчера.

Тонья проводила меня на поезд. Искусственный свет над перронами, пассажиры перед вагонами, уже настроенные на ночной лад и говорящие вполголоса, чемоданные колесики, скребущие по асфальту. Она плакала. Я не плакал, лишь обнял ее и стер слезы с ее щеки, она улыбнулась сквозь слезы, я поднялся в вагон с мыслью, что не хочу видеть, как она будет уходить, не хочу видеть ее спину, но не вытерпел и выглянул в окно: она шла по перрону и скрылась в вокзале.

Она останется там же?

В нашем доме?

Я откусил багет и посмотрел вниз на черно-белые квадраты площади, чтобы переключиться хоть на что-нибудь. На другой стороне, где магазины, было людно. Входили-выходили из дверей метро, из входа в галерею, ехали вверх-вниз по эскалаторам. Зонты, пальто женские, пальто мужские, сумки, пакеты, рюкзаки, шапки, детские коляски. Выше их – машины и автобусы.

Часы на стене торгового центра показывали без десяти три. Лучше постричься сразу, подумал я, а то потом есть риск не успеть. Спускаясь на эскалаторе, я вытащил мобильный телефон и стал прокручивать список сохраненных номеров, но звонить не хотелось никому – слишком много придется объяснять, слишком много говорить, а взамен я мало что получу – так что, выйдя на улицу, в безнадежный мартовский день, где пошел снег, посыпались тяжелые хлопья, я выключил телефон, сунул обратно в карман и побрел по Дротнинггатан в поисках парикмахерской. Напротив торгового центра мужик играл на губной гармонике. Ну как играл. Он просто дул в нее со всей дури и то и дело резко откидывался назад. Волосы у него были длинные, лицо помятое. Бешеная агрессия, исходившая от него, задела меня. Пока я шел мимо него, в венах колотился страх. Неподалеку, у входа в обувной магазин, молодая женщина наклонилась над коляской и вытащила младенца. Он был упакован в меховой мешок, голова затянута в меховую шапку, и смотрел прямо перед собой, не реагируя на манипуляции матери. Она прижала его к себе одной рукой, другой толкнула дверь магазина. Снег таял, касаясь асфальта. Мужчина сидел на раскладном стуле с плакатом, из которого можно было понять, что в ресторане в пятидесяти метрах отсюда подают стейк на доске всего за сто девять крон. Стейк на доске? – подумал я. Шедшие мимо женщины были во многом похожи друг на друга, большинству лет пятьдесят, в очках, в пальто, располневшие, в руках пакеты из магазинов «Оле́нс», «Линдекс», «НК», «Кооп», «Хемчёп». Мужчин того же возраста было меньше, но среди них многие тоже выглядели похоже, хотя иным образом. Очки, песочного цвета волосы, водянистые глаза, зеленоватые или сероватые куртки менее делового кроя, чаще тонкие, чем толстые. Я хотел остаться один, но такой опции не имелось, и я тащился вперед. То, что кругом были сплошь незнакомые лица, и то, что, поскольку я никого тут не знаю, так будет еще много месяцев, не отменяло чувства, что все на меня пялятся. Когда я жил на крошечном острове, где кроме меня было еще три человека, я и тогда чувствовал себя все время на виду. У меня неправильное пальто? А воротник, наверно, распахивают не так? Ботинки, хорошо ли они смотрятся? А походка? Я слишком подаюсь вперед? Да, вот такой идиот. Пламя идиотизма разгоралось во мне. Нет, но надо быть все же таким идиотом? Гребаным идиотом в квадрате. Эти мои ботинки. Моя куртка. Дурак, дурак, дурак. Рот мой, бесформенный, мысли мои, бесформенные, чувства мои, бесформенные. Все вытекло. Нигде ничего постоянного, крепкого. Мягкое, желейное, глупое. Етить-колодрить, идиот хренов. В кафе я покоя не нашел, вмиг сосчитал все взгляды в зале и продолжал реагировать на них, каждый брошенный на меня взгляд проникал в душу и устраивал там погром, а каждое мое движение, простейшее, типа пролистнуть книгу, таким же образом регистрировалось ими как очередное проявление моего идиотизма, каждое мое движение говорило: вот перед вами идиот. Так что лучше уйти, потому

что здесь взгляды один за одним исчезают, их сменяют другие, но они хотя бы не успевают выкристаллизоваться, они просто проплывают мимо: смотри, а вон идиот, смотри, а вон идиот, смотри. Так я и шел под эту песню. И знал, что неправда, что я сам все напридумал, но знание не помогало, окружающие все равно проникали внутрь меня и устраивали там погром, даже самые никчемные, самые некрасивые, самые толстые, оборванцы, даже тетка с приоткрытым ртом и пустыми, мутными дебильными глазами могла сообщить мне, какой я идиот, просто посмотрев на меня. Даже она. Так было, да. Я шел через толпу людей, под темнеющим небом, хлопьями мокрого снега, мимо одного светящегося магазинного окна за другим, совершенно одинокий в моем новом городе, без малейшей идеи, как оно все тут будет, потому что мне было все равно, ничто не играло никакой роли, вот правда – единственная моя мысль была, что я должен через это пройти. «Этим» была жизнь. А я был занят прохождением через нее.

* * *

Я высмотрел парикмахерскую с живой очередью в пассаже рядом с большим торговым центром, – когда первый раз шел мимо, пропустил ее. Меня сразу посадили в кресло. Голову здесь не мыли, побрызгали чем-то из опрыскивателя. Парикмахер, мигрант, курд, я думаю, спросил, как стричь, я ответил, покороче, и показал длину большим и указательным пальцами, он спросил, кем я работаю, я ответил, учусь, он спросил, откуда я, из Норвегии, ответил я, он спросил, на каникулах ли я, в ответ я кивнул – и разговор прекратился. Клоки волос падали на пол вокруг кресла. Они были почти черные. Удивительное дело, потому что когда я смотрюсь в зеркало, то кажусь себе блондином. И так было всегда. Хотя я знал, что у меня темные волосы, но не видел этого. А видел светлые, какими они были у меня в детстве и юности. И на фотографиях тоже я видел светлые волосы. И только глядя на них во время стрижки, на фоне светлой плитки, отрезанные и оттого словно больше не мои, я замечал, что они темные, почти черные.

Когда я спустя полчаса вышел на улицу, холодный воздух стиснул стриженую голову точно шлем. Время близилось к четырем, темное небо отливало в черноту. Я зашел в присмотренный мною раньше магазин *H&M*, чтобы купить шарф. Мужской отдел оказался в подвале. Поискав шарф и не найдя его, я в конце концов подошел к кассе и спросил юную барышню, стоявшую там, где у них шарфы.

– *Vad säger du*?[20] – спросила она.

– Где у вас шарфы? – снова спросил я.

– *Jag fattar tyvärr inte vad du säger*[21]. *I'm so sorry. What did you say*?[22]

– Шарфы, – сказал я. Взял себя за горло. – Где они лежат?

– *I don't understand*, – сказала она. – *Do you speak English*?[23]

– *Scarves*, – сказал я. – *Do you have any scarves*?[24]

– *Oh, scarves*, – сказала она. – *That's what we call halsduk. No, I'm sorry. It's not the season for them anymore*[25].

Выйдя из магазина, я подумал было проверить, нет ли шарфов в «Оленс», соседнем большом торговом центре, но отогнал от себя эту мысль, для одного дня идиотизма уже с избытком, и пошел вверх по улице, в сторону пансионата, где я жил два года назад, потому что идти приятнее все же с целью, чем без. По дороге я заглянул к букинисту. Полки здесь были высокие

[20] Что вы говорите? (*швед.*)

[21] К сожалению, не понимаю, что вы говорите (*швед.*).

[22] Я прошу прощения. Что вы сказали? (*англ.*)

[23] Я не понимаю. Вы говорите по-английски? (*англ.*)

[24] Шарфы. У вас есть шарфы?

[25] Ах, шарфы! Мы их называем *halsduk*. Нет у нас их, к сожалению. Сезон закончился (*англ.*).

и стояли так плотно, что между ними едва удавалось протиснуться. Окинув их бесстрастным взглядом, я уж собрался уходить, когда увидел сверху стопки в углу у кассы томик Гёльдерлина.

– Он продается? – спросил я букиниста, мужчину моего примерно возраста, уже некоторое время наблюдавшего за мной.

– Естественно, – ответил он, и в лице его ничего не поменялось.

«Песни» называлась книга. Могут это быть *Die vaterländische Gesänge*? Я посмотрел на оборот титула. Год издания 2002, то есть книга совсем новая. Но оригинального названия не было, и я стал листать предисловие, читая названия курсивом. И да. Нашел *Die vaterländische Gesänge*. Гимны родине. С какого перепугу их перевели как «Песни»? Ну неважно.

– Я куплю эту книгу. Сколько с меня?

– *Förlåt*?[26]

– Сколько стоит?

– Позвольте, я возьму ее на секунду, посмотрю… Сто пятьдесят крон, пожалуйста.

Я расплатился, он положил книгу в небольшой пакет и протянул его мне вместе с чеком, который я сунул в карман, прежде чем толкнул дверь и вышел на улицу, болтая пакетом с книгой. На улице тем временем пошел дождь. Я остановился, снял со спины рюкзак, убрал в него книгу, снова надел рюкзак и пошел вверх по ярко освещенной торговой улице, на которой сыпавший несколько часов снег не оставил других следов, кроме серой талой каши на всех поверхностях выше мостовой: оконных переплетах, карнизах, выступах крыш, головах статуй, полу на верандах, маркизах, провисших так, что материя собралась в складку спереди у рамы, на кирпичных оградах, крышках мусорных баков, на гидрантах. Но не на тротуаре. Черный, мокрый, он блестел в свете из окон и от фонарей.

* * *

От дождя гель, которым парикмахер уложил мне волосы, потек на лоб. Я стер его ладонью, вытер ее о штанину, увидел справа подворотню и зашел в нее перекурить. Внутри оказался большой зеленый двор с верандами по меньшей мере двух ресторанов. И бассейном в центре. На табличке рядом с входной дверью значился Союз писателей Швеции. Добрая примета, я как раз собирался позвонить им и спросить насчет жилья.

Я закурил сигарету, вытащил купленную книгу, прислонился к стене и с умеренным интересом стал ее листать.

* * *

Имя писателя Гёльдерлина было мне хорошо известно. Нет, не в том смысле, что я регулярно его читал, как раз наоборот, тут все исчерпывалось двумя-тремя случайными стихотворениями в переводной антологии Улава Хауге, и плюс я знал в самых общих чертах о выпавшей ему судьбе: годы душевной болезни, жизнь в Тюбингене в этой башне; но тем не менее имя его сопровождало меня долгие годы, лет с шестнадцати, когда Хьяртан, мой дядя по матери, младше ее на десять лет, впервые заговорил о нем. Единственный из детей, Хьяртан остался в родительском доме, на небольшом хуторе в Сёрбёвоге, что в Утре-Согн, и жил там вместе с родителями: моим дедом, в тот момент почти восьмидесятилетним, но крепким и подвижным, и моей бабкой в последней стадии Паркинсона, почти совсем беспомощной. Хутор, хоть и был не больше двух гектаров, требовал сил и времени, как и практически круглосуточный уход за матерью, но Хьяртан еще и работал судовым сантехником на верфи в нескольких десятках

[26] Простите? (*швед.*)

километров от дома. Он был человеком редкостной чувствительности, уязвимым, как нежнейший цветок, полностью лишенным как интереса к практической стороне жизни, так и житейской хватки, поэтому все, чем он занимался, из чего ежедневно складывался его день, – все это он заставлял себя делать. День за днем, месяц за месяцем, год за годом. Чистым усилием воли. Причина, по которой его жизнь сложилась так, не только в том, что он не сумел вырваться из среды, в которой родился, – как многие, наверно, думали о нем, мол, он не уехал, не порвал с привычным укладом, потому что он привычный, – скорее причина кроется в чувствительности его натуры. Потому что куда было податься в середине семидесятых юноше, мечтающему об идеальном и совершенном мире? Придись его юность на двадцатые годы, как у его отца, он бы, возможно, подался прочь и был бы принят и прижился в жизнелюбивом течении поздних романтиков, грезивших природой, которое цвело тогда во всей культуре, как минимум в ее пишущей на новонорвежском языке части, представителями которой были Улав Нюгорд и Улав Дуун, Кристоффер Упдал и Улав Аукруст, а позже Улав Х. Хауге перенес его в наше время; в пятидесятые годы он бы, возможно, увлекся теориями и идеями культуррадикализма, если бы их антипод, медленно умиравший культурконсерватизм, не оприходовал Хьяртана первым. Но его юность пришлась не на двадцатые и не на пятидесятые, а на семидесятые годы, так что он стал членом АКП (м.-л.) и самопролетаризовался[27], как это тогда называлось. Начал монтировать трубы на судах, потому что верил в лучшее устройство мира, чем наше. И занимался этим не пару лет или месяцев, как большинство его единомышленников, но почти два десятилетия. Он оказался из горстки тех, кто не сменил идеалы, когда сменились времена, но твердо держался их несмотря на то, что чем дальше, тем выше становилась цена, в которую это обходилось ему и в социальном, и в личном плане. Быть коммунистом в деревне совсем не то же самое, что быть коммунистом в городе. В городе человек был в этом не одинок, а имел соратников, единомышленников, свой круг, к тому же его политические пристрастия проявляли себя только в некоторых контекстах. В деревне ты становился *коммунистом*. Это слово описывало твою идентичность, всю твою жизнь. К тому же быть коммунистом в семидесятые, на гребне волны, это совершенно не то, что быть им в восьмидесятые, когда все крысы давно сбежали с корабля. «Одинокий коммунист» звучит как оксюморон, но с Хьяртаном так и случилось. Я помню, как они спорили с отцом, когда мы летом навещали деда с бабушкой, громкие голоса, долетавшие до нас, уже уложенных спать, снизу из гостиной; и, хотя я не мог этого сформулировать и даже не думал об этом, я чувствовал между ними основополагающую разницу. Для отца дискуссия имела частный характер, он хотел объяснить Хьяртану, в чем тот заблуждается, а для Хьяртана – была вопросом жизни и смерти: все или ничего. Отсюда и пылкость его речи, и раздражение в голосе отца. От нас не таили, во всяком случае, мне было известно, что отец говорит с позиций реальности, его доводы и соображения имеют отношение к повседневности, к нам, к жизни здесь и сейчас, школьным будням и футбольным матчам, комиксам и рыбалке, уборке снега и каше по субботам[28], а рассуждения Хьяртана – не от мира сего. Хьяртан, понятно, не мог согласиться, что все, во что он верит и чему, можно сказать, фактически отдал жизнь, не имеет отношения к реальности – как всякий раз старались доказать мой отец и все прочие. Мол, в действительности все не так, как утверждает Хьяртан, и так никогда не будет. Тогда он оказывался мечтателем. А вот уж кем он не был, так это как раз мечтателем. Он как раз жил конкретной, реальной, грубой, приземленной жизнью. По сути, в самой ситуации была глубокая ирония. Проповедник идеи братства и солидарности оказался

[27] АКП (м.-л.) – Рабочая коммунистическая партия (марксистско-ленинская), маоистская партия, существовала в Норвегии в 1973–2007 годах; играла огромную роль в культурной жизни страны; призывала своих членов, в частности, к «самопролетаризации», то есть переходу на «пролетарскую» работу.

[28] В Норвегии в прошлом веке сложилась традиция готовить в субботу на обед рисовую кашу с корицей; до XIX века рис был деликатесом для богатых, но тогда же сложился обычай готовить сладкую рисовую кашу на Рождество и угощать ей домового – ниссе.

один, всеми отвергнутый. Идеалист с абстрактным взглядом на мир и душевной организацией тоньше, чем у всех оппонентов, он ворочал и перетаскивал тяжести, бил молотком и колотил кувалдой, паял и свинчивал, корячился на одном судне за другим, доил и кормил коров, сгребал навоз в навозную яму и по весне удобрял им землю, косил траву и метал стога, содержал в порядке дом и постройки и ухаживал за матерью, которой с каждым годом требовалось больше помощи. Это была вся его жизнь. То, что с начала восьмидесятых тема коммунизма звучала все глуше и глуше, а ожесточенные дискуссии, которые Хьяртану приходилось вести на всех фронтах, заглохли и незаметно сошли на нет, возможно, изменило цель жизни, но не ее содержание. Она текла как раньше, по тому же расписанию: в сумерках встать, покормить и подоить коров, успеть на автобус до верфи, поработать весь день, вернуться домой и заняться родителями: поводить маму по комнате, если она в состоянии, или сидеть растирать ей ноги, сгибать их, разгибать, помочь ей с туалетными процедурами, наверно, приготовить ей одежду на завтра и снова идти на улицу, заниматься хозяйством, например, загнать и подоить коров или еще что-то, наконец, уйти к себе, поужинать и спать до утра, если, конечно, маме не станет ночью плохо и отец не придет ночью будить его. Так выглядела жизнь Хьяртана со стороны. Когда его коммунистический период начался, мне было всего года два, а завершился он, вернее, его риторическая составляющая, к моему выпуску из средней школы[29], так что когда я в шестнадцать лет вошел в фазу «и узнать людей по-настоящему», то в сложившемся у меня образе дяди Хьяртана все это составляло лишь расплывчатый фон. Для настоящей полноты картины гораздо важнее был факт, что дядя пишет стихи. Не потому, что меня волновала поэзия, но это много «говорило» о Хьяртане. Потому что человек не пишет стихов, если может обойтись без этого, то есть если он не поэт. С нами он о своих стихах не говорил, но и не скрывал, что пишет. Во всяком случае, мы о них знали. В какой-то год что-то напечатали в «Даг о Тид», в другой год – в «Классекампен»[30]; небольшие незамысловатые зарисовки будней простого рабочего человека – но сам факт публикаций, пусть скромных, вызвал некоторый ажиотаж в семействе Хатлёй, где к книгам относились благоговейно. А уж когда его стихотворение, еще и вместе с портретом автора, напечатал на задней обложке знаменитый журнал «Виндюет», а несколькими годами спустя и вовсе отдал Хьяртану целый разворот, две полные страницы, то в наших глазах он стал настоящим всамделишным поэтом. Как раз в то время он занялся философией. По вечерам, сидя в своем домике высоко над фьордом, продирался сквозь неприятно заумный немецкий Хайдеггера в «Бытии и времени», смотря, видимо, каждое слово в словаре, поскольку, как я понимаю, не читал и не говорил на этом языке со школы, и читал поэтов, поминаемых автором, в первую очередь Гёльдерлина, и досократиков, к которым тот обращал свой взор, и Ницше, Ницше… Потом Хьяртан говорил, что читать Хайдеггера было как домой возвратиться. Без преувеличения можно сказать, что Хьяртан впитывал Хайдеггера всем своим существом. В этом было что-то сродни религиозному переживанию. Пробуждение, преображение, наполнение старого мира новыми смыслами. Как раз в то время мой отец ушел из семьи, и мы с мамой и Ингве стали праздновать Рождество у бабушки с дедом, то есть и у Хьяртана, ему было лет тридцать пять уже, он так и жил с родителями в их доме и работал как прежде. Те четырепять совместных празднований стали, без сомнения, самыми памятными из всех, на которых я бывал. Бабушка болела, она сидела скрючившись у стола и дрожала. Дрожали руки, дрожали ладони, дрожала голова, дрожали ноги. Временами случались судороги, тогда ее пересаживали в кресло, руками распрямляли ей ноги и массировали их. Но она была в ясном уме, и глаза ясные, она видела нас и радовалась нам. Дед, мелкий, круглый, шустрый, в любую паузу сыпал историями и смеялся – а собственные истории он не мог рассказывать без смеха – до слез.

[29] По школьной реформе 1969 года дети шли в школу в семь лет, шесть лет учились в средней школе и еще три года в гимназии. Следующая реформа произошла уже в 1997 году.

[30] «Даг о Тид» (*норв. Dag og Tid*) – одна из самых массовых газет Норвегии; «Классекампен» (*норв. Klassekampen* – «Классовая борьба») – самая влиятельная газета левого толка, известная очень высоким уровнем своих литературных страниц.

Но паузы выпадали нечасто, потому что рядом находился Хьяртан, а Хьяртан целый год читал Хайдеггера и был им переполнен, но поделиться этим посреди изнурительной, безостановочной поденщины, в которой он жил, ему было не с кем; на десятки километров вокруг ни одна живая душа о Хайдеггере не слыхивала и не стремилась услышать, хотя Хьяртан наверняка пытался его проповедовать просто потому, что тот из него уже пер, – но все без толку: никто его не понял, никто и не захотел понять; и тут являемся мы: родная сестра Сиссель, преподаватель медучилища, не чуждая интереса к политике, литературе и философии; ее сын Ингве, студент университета, об учебе в котором сам Хьяртан мечтал всегда, но в последние годы особенно; и второй ее сын Карл Уве. Мне было семнадцать лет, я учился в гимназии, в его любимых стихах я не понимал ровным счетом ничего, но Хьяртан знал, что я читаю книги. Этого было ему достаточно. Мы переступали порог, и шлюз открывался. Все выношенные им за год мысли изливались на нас. Его не волновало, что мы ничего не понимаем, что собрались праздновать Рождество, что бараньи ребрышки, картошка, пюре из кольраби, аквавит и рождественское пиво уже стоят на столе, – он говорил о Хайдеггере, говорил изнутри себя, не перекинув ни единого коммуникативного мостика во внешний мир: дазайн и дасман[31], Тракль и Гёльдерлин, великий поэт Гёльдерлин, Гераклит и Сократ, Ницше и Платон, птицы на дереве и волны во фьорде, бытие и экзистенция человека, солнце в небе и дождь в воздухе, кошачьи зрачки и грохот водопада. Растрепанный, в плохо сидящем костюме и галстуке с пятнами, Хьяртан сидел за столом и вещал с горящими глазами, они действительно горели, этого я никогда не забуду, потому что снаружи было темно, дождь хлестал в окна, в Норвегии наступил Рождественский сочельник 1986 года; у нас сочельник, красиво упакованные подарки лежат под елкой, все принаряжены, а разговор за столом только об одном – о Хайдеггере. Бабушку била трясучка, дед растирал ей ногу, мама слушала Хьяртана и старалась вникнуть, Ингве перестал вслушиваться. Мне все было по барабану, я радовался Рождеству. И хоть ни черта не понимал из того, что Хьяртан говорил, писал, и еще меньше из поэтов, коих он так превозносил, но интуитивно я чувствовал, что он прав, есть высшая философия и высшая поэзия, а если человек ее не понимает, не в состоянии разделить ее совершенство, то пенять он может только на себя. С тех пор когда я думаю о высшем, то всегда начинаю с Гёльдерлина, а где Гёльдерлин, там непременно гора и фьорд, ночь и дождь, небо и земля и горящие глаза моего дяди.

* * *

Многое в жизни поменялось с тех пор, но мои отношения со стихами в целом оставались прежними. Я мог их читать, но они никогда не открывались мне, потому что у меня нет на них «прав»: не про меня они писаны. Я пытался проникнуть в них, всегда чувствовал себя при этом обманщиком, и, действительно, меня каждый раз разоблачали: в самих стихах был еще и вопрос ко мне – а ты кто такой, чтобы сюда соваться? Так говорили мне стихи Осипа Мандельштама, стихи Эзры Паунда, и стихи Иоганнеса Бобровского говорили то же самое. Право читать их надо заслужить.

[31] Дазайн (*Dasein*) и дасман (*DasMan*) – философские понятия, обычно ассоциируемые с учением Мартина Хайдеггера, и в частности с его работой «Бытие и время».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.